SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Е. А. Соловьев
  -
  - Введение
  - Глава I. Первые сорок лет
  - Глава II. Борьба с королем. Армия Кромвеля
  - Глава III. Борьба с парламентом
  - Глава IV. Протекторат
  - Источники и пособия
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

Е. А. Соловьев
Оливер Кромвель
Его жизнь и политическая деятельность
Биографический очерк
С *портретом Кромвеля, гравированным в Лейпциге Геданом*

Введение

“Ближайшее потомство клеймило Кромвеля как нравственное чудовище, а в позднейшее время его прославляли как величайшего из людей”.

Так говорит Ранке. Выражаясь точнее, можно сказать: XVII век ненавидел и презирал Кромвеля, XVIII не понимал его и только XIX воздал ему должное. Иначе не могло и быть. Историки и люди XVII века отнеслись к Кромвелю как люди партии. Они охотно верили всяким небылицам, которые только рассказывались про него; они готовы были даже клеветать, чтобы как-нибудь очернить память этого страшного и непонятного для них человека, чьему слову еще так недавно вольно или невольно подчинялась вся Англия. Они упрекали Кромвеля в распутной юности, грязных болезнях, ханжестве и лицемерии. Они называли его сыном дьявола, узурпатором и цареубийцей. Они не хотели признать в нем даже гения и с удовольствием распространялись о его поразительных способностях к интриге. И не только роялисты, защитники трона и династии Стюартов, поступали так – на Кромвеля восстали и те, которые долго были его друзьями, то есть искренние республиканцы. И они осудили его, и для них он был ханжой и лицемером. Не зная границ своему раздражению, враги Кромвеля дошли до последнего безобразия и жестоко надругались над его трупом, разрыв могилу, а историки XVII века, подчиняясь взглядам и страстям партий, нагромоздили на его память такую массу клевет, что, повеpивши одной сотой из них, следовало бы искренне пожелать Кромвелю жесточайшего адского огня во веки веков. Для XVIII века первая английская революция (1641 – 1661 годы) и ее герой были непонятны. XVIII век верил в разум, почитал разум, преклонялся только перед ним. Он третировал религиозные интересы, которые были так дороги людям за столетие перед тем. Он смеялся над словом *святость* и везде, где только мог или думал что мог, вместо смиренного “верую” ставил свое гордое “знаю”. Он презирал фанатизм и фанатиков, вышучивал молитву и в лице многих и многих своих философов-моралистов склонялся к мысли, что человек не может руководствоваться в жизни ничем другим, как рассудком и эгоизмом. Очевидно, что Кромвель и его “святые” индепенденты[1] не подходили под модное требование. Они были фанатиками, они верили не только в Провидение, а еще и в то, что Провидение избрало именно их для исполнения своих предначертаний. Они никогда не кичились рассудком, а охотно подчиняли его высшей с их точки зрения силе – силе экстаза,

интуиции, священного вдохновения. Не такие люди могли являться героями в глазах философов и историков XVIII века. Ему нужны были Ньютоны, Галилеи и Коперники; он восторгался формулой тяготения и иронически, а иногда и с раздражением говорил о религиозных движениях, считая их результатом происков ненавистного ему духовенства. Зато XIX век оказался на высоте своей задачи. Только в этом столетии история действительно стала наукой и добилась поразительных успехов. Строгая критика фактов и веротерпимость (в полном и лучшем смысле этого слова) – вот основа новых исторических исследований. Стремление во что бы то ни стало отделаться от легенд и басен, от всякой лжи, внешней и внутренней, как бы ни льстила она национальному самолюбию или поддерживала тот или другой партийный интерес, и создает науку. А это стремление существует, и история в XIX веке может гордиться им наряду с любой из отраслей человеческого знания. Поэтому-то так много развенчанных героев, оказавшихся совсем не героями, а еще больше деятелей, которым воздано по делам их, несмотря на мусор, наваленный на их память клеветой и партийностью.

Девятнадцатое столетие – за Кромвеля. Некогда “чудовище нравственности” и сын Вельзевула, он нашел себе такого спокойного и справедливого судью, как Ранке, такого восторженного и страстного адвоката, как Карлейль, таких красноречивых и даровитых защитников, как Маколей, Гизо и пр. Нет ни одного мало-мальски выдающегося историка, который сомневался бы в его величии. А раз величие признано, то что еще остается признать, по крайней мере, в данном случае? Ведь Кромвель не мыслитель-теоретик, не специалист науки, не поэт или художник, это прежде всего практический деятель, “born king of men”[2], как называет его Карлейль. Говоря о его величии, можно иметь в виду лишь величие человека, взятого во всем его целом, и общественного деятеля. Так и толкуется величие Кромвеля, так и понимается оно. Глупые басни о его беспутной юности никого теперь не интересуют. Гизо верит им, но упоминает о них в двух строках; Карлейль не верит им и опровергает тоже в двух строках. Так же поступает и Паули. Если бы даже было доказано, что двадцатилетний Оливер Кромвель слишком много пил виски, целые ночи напролет проводил за костями, нарушал сон мирных граждан, распевая беспутные песни, то его образ нисколько бы не потускнел в наших глазах. Нельзя же на самом деле соваться всюду с аршином буржуазной добродетели и плакаться о грехах двадцатилетнего юноши, который стал впоследствии героем целой исторической эпохи.

Лучше, однако, пренебрегая частностями, сразу сговориться с

читателем насчет термина “величие”.

Термин этот старый, общеизвестный и общеупотребительный. Это не мешает ему быть достаточно неопределенным. Но вот, если не ошибаюсь, пункты, по поводу которых все должны быть согласны. Эти-то пункты и составляют элементы величия, как оно понимается большинством.

Во-первых, величие немыслимо без влияния. Эти две величины прямо пропорциональны друг другу; чем больше одно, тем и другое больше, и наоборот: при незначительном влиянии человека на жизнь говорить о его величии будет совсем напрасно. Это простая сентиментальность, которая по всей вероятности украшает людей. Но жизнь ее не знает. Если угодно, жизнь в этом случае даже жестока и определяет размер величия математически правильно. Она прямо говорит: “Велико лишь то, что выживает”, – и в этом случае смешивает величие с силой. Гомер был великий художник. Это очевидно. Сто поколений наслаждались уже его творческой фантазией; сто, а вероятно и тысяча грядущих поколений еще будут наслаждаться ею. Недаром его поэмы называют бессмертными, все равно как бессмертными можно назвать диалоги Платона, драмы Софокла и Шекспира. Это бессмертие есть высшая степень выживаемости, высшее выявление той внутренней силы, которая позволяет продукту человеческого творчества оставаться многозначительным, несмотря на крушение царств, цивилизаций и даже угасание звезд. Маленькое дело – мыльный пузырь; он родится, блеснет на солнце, вызовет восторги детей младшего возраста и лопнет тихо и незаметно среди миллиардов подобных ему. Только великое остается, только оно “строит” жизнь. Ведь в мысли гения и в делах его скрыта поистине чудодейственная, вечно юная сила. Она не ржавеет и не старится. Каждое новое поколение подходит к ней с новыми требованиями, новой точкой зрения, более глубоким анализом и находит в ней новое содержание, новую мощь и красоту. Она неиссякаема и светит так же величаво, так же жизнерадостно, хотя бы сотни лет прошли уже со дня ее появления.

Итак, сила *влияния* на жизнь, сила выживаемости есть первый необходимый признак великого.

Во-вторых, великое способно к дальнейшему синтезу, к дальнейшему развитию. Малое потому и мало, что оно ставит на своем развитии точку немедленно после появления на свет Божий. Оно не “угадало” жизни, ее действительных, насущных потребностей; оно не в состоянии приспособиться ни к каким условиям места и времени, тем более создать для себя нужные условия, и роковым образом обречено или на эфемерный блеск,

или на чахоточное умирание. Но ведь, чтобы выживать, надо развиваться. Это своего рода фатум, представляющийся величайшим счастьем для одних, величайшим несчастьем для других, даже проклятием, как например для Руссо. Но дело не в счастье и не в несчастье, дело в необходимости, которой стоит только заговорить, чтобы умолкло все остальное. А "необходимость" жизни постоянно требует нового приспособления, новых форм, движения вперед, к высшим в сравнении с предшествующими образцами. Возьмете ли вы идею любой науки, или идею нравственности, или человеческое учреждение – безразлично, вы увидите, что их жизнь заключается в том, что они становятся шире, отвлеченнее, охватывают больший круг предметов, явлений и понятий, завоевывают себе большие права и большую власть. Они борются и побеждают, и растут от своих побед. Но мы сказали, что великое выживает, а чтобы выживать, надо обладать способностью к дальнейшему синтезу и развитию. Ergo: великое обладает ею.

В-третьих, великое *практично.* Не без страха употребляю я это слово, так как знаю, что многие недолюбливают его. Есть даже формула: "непрактично, зато гениально". Совсем неумная формула: гениальное, великое всегда практично. Сейчас объясню, как я это понимаю.

История очень внушительно и неопровержимо говорит нам, что в жизни человечества столько же борьбы за настоящие, то есть действительные потребности бытия, сколько и погони за иллюзиями. Этих последних – увы! – слишком даже много, как в существовании отдельных людей, так и целых обществ, целых народов. И поэтому как глубоко прав был Сократ, когда десятки и сотни раз повторял свой излюбленный принцип: "Познай самого себя, свои силы и способности и определи, к какому делу ты наиболее пригоден". Да, правда, везде и повсюду слишком много иллюзий. Точно разноцветные райские птицы летают они мимо наших глаз, привлекая к себе блестящими красками; точно призраки наполняют они бытие, и человек спешит за ними, улавливая неуловимые тени, то спотыкаясь, то падая в пропасть во время страстной погони за чаровницей-иллюзией. Ее власть громадна. Возьмите искусство, литературу, жизнь. Отовсюду, то самодовольные и окрыленные успехом, то бледные, измученные неудачами, загнанные нуждой, смотрят на вас лица охотников за иллюзией. Они не видят жизни, не хотят видеть ее. Они видят, знают, преследуют мечту своего воображения, свою idee fixe. Тот мнит себя дипломатом, тот – человеком войны; тот ставит себя рядом с Фемистоклом, тот – с Александром Македонским. У другого не меньший зуд писать историю. Но он затемняет – увы! –

не уясняет ее... За томом том, страница за страницей – и летит жизнь, пока смерть не скажет наконец своего властного “довольно!”, и воспаленное воображение не остынет в ледяном холоде могилы...

А разве народы не знают иллюзий, разве не свойственно каждому из них провозглашать себя величайшим и ценнейшим сосудом всяких доблестей?.. Возьмите потом целые исторические эпохи, стремление Карла V восстановить средневековую империю, стремление папства быть в XVI веке тем же, чем оно было в XII, европейских королей – основать европейскую монархию и так далее, и вы увидите, как много сил, и недюжинных сил, потрачено на то, чтобы зачерпнуть ковшом отражение месяца на воде.

Великая мысль – не иллюзия. Рано или поздно она осуществима. В этом смысле я и называю ее практичной, то есть способной жить.

В-четвертых, великое играет в жизни роль начала *объединяющего.* Эта мысль настолько проста и элементарна, что я лишь слегка остановлюсь на ней. Если не ошибаюсь, один из греческих мудрецов сказал: “Все то, что объединяет людей, – то благо”, и в этом смысле великое может быть названо благим. Психологические основания этой формулы очевидны, когда мы переходим к конкретному случаю влияния *героя* на толпу. Надо только заметить, что в данном случае я употребляю термин “герой” не в научном, а в карлейлевском смысле слова. Для Карлейля герой – прежде всего сила нравственная, для современной науки – сила инициаторская вообще, в нравственном смысле безразличная. Поэтому-то связующим звеном между толпой и героем не может быть простое подражание, а нечто высшее, нечто более сложное и моральное. Герой науки вызывает людей к поступкам вообще, герой Карлейля – только к благородным поступкам. Словом, сущность героизма и инициаторства является у Карлейля осложненной, более узкой и односторонней, но высшей по типу. С его героем по необходимости связано представление о “высоком” в нравственном отношении.

Каким же образом это “высокое” исполняет объединяющую роль? Обыденная жизнь обыденного маленького человека дает нам ответ на этот вопрос. В каждом из нас живет любовь к правде, но далеко не каждый чувствует это. У нас есть в глубине души стремление к справедливости, но оно затерялось среди сорных трав, оно придавлено и даже подавлено нашим алчным себялюбивым “я”. Мы зачастую, чуть ли не каждый день, чувствуем себя рабами собственных страстей и похотей, но не

знаем, как бороться с ними: в конце концов побеждают они. И невольная грусть, невольное томление или же – совсем наоборот – скотское самодовольство овладевают человеком, когда перестает бить в нем родник Вечной правды, занесенный илом и грязью. Увы! – кому из нас не приходится ежеминутно убеждаться в собственном бессилии? Это обидное бессилие. Наша жажда правды и справедливости точно птица с простреленным крылом робко прячется в тени густого кустарника и пугливо озирается по сторонам, ежеминутно вздрагивая и возбуждая невольное сострадание. Очевидно, что не этой жажде справедливости и добра приходится играть первенствующую роль. Как раз наоборот: на сцене жизни воюет, кипятится, приходит в отчаяние, переживает себялюбивые восторги маленькое, ненаполнимое, эгоистическое “я”. Но стоит только человеку свести свои заботы и свою деятельность к его ублаготворению, как он по необходимости окажется в тайной или явной вражде со всеми своими ближними. Единство жизни может, конечно, поддерживаться, но механически. Традиции, привычка, личные симпатии, принудительная сила государства, соображения собственной выгоды – вот обыкновенные факторы единения, причем принудительные играют первенствующую роль. Однако история представляет нам и другие примеры, другие зрелища. Мы часто видим, как человек свободно, хотя и непроизвольно, то есть без всякого внешнего принуждения, свое себялюбивое “я” подчиняет или даже приносит в жертву высшему началу – любви к Богу, стремлению к справедливости. И – удивительное дело – в таком случае он немедленно оказывается не во вражде уже, а в плотной, неразрывной связи со многими и многими из себе подобных. Появление героя, то есть человека, в котором *конкретно* воплотилось высшее начало, облегчает этот процесс. Человек слаб, бессилен; родник Вечной правды, находящийся в душе его, занесен илом и грязью. Мощное слово героя, непосредственная сила очарования, с какою он влияет на каждого, открывают этот родник, и он опять начинает бить, но не с прежней, а неизмеримо большей силой. Простой смертный под сенью героя чувствует, как поднялся он сам в глазах своих, как исчезли его робость и напряженное, болезненное животолюбие[3]. Правда, лично от своего “я” он отказался. Герой как нечто грандиозное очаровал и подавил его. Но что в данном, по крайней мере, случае означает отречение от своего “я”? Говоря картинно: слияние ручья с морем, своей воли – с высшей, своих неясных стремлений – со стремлениями ясными и определенными, смутного предчувствия о правде – с полным сознанием ее. В этом рабстве – высшая свобода, так как оно не

унижает, не гнетет, а выводит на ту высоту нравственной жизни, до которой не может добраться лично сам отдельный, маленький человек. И тут только он убеждается, что истинное единение между людьми возможно лишь при подчинении своего “я” высшему началу. Возле героя образуется толпа, не в смысле количественной массы, а одухотворенного, живого и плотного целого.

Таковы элементы величия.

Но мы видели, что величие признано за Кромвелем таким подавляющим большинством голосов, что было бы бесполезно оспаривать его. Значит, в деятельности лорда-протектора Соединенных королевств мы должны найти и выживаемость, и способность к дальнейшему развитию, и практичность, и талант объединять людей. В нем, как в личности героической, мы увидим непосредственную силу проникновения и очарования.

Ясно, о чем должна говорить нам его биография.

Глава I. Первые сорок лет

Род и семья Кромвеля. – Детство и юношество. – Религиозные сомнения. – Отношение к кальвинизму и пуританизму. – Скромный сельский джентльмен. – Участие в общественных и государственных делах

Род Кромвеля не имеет никакого отношения к лордам того же имени, которые в XIV и XV столетиях были сделаны пэрами. Но зато доказано его родство с сильным министром Генриха VIII, Томасом Кромвелем, графом Эссекским, "молотом монахов" (malleus monachorum), беспощадно гнавшим святых отцов, разрушавшим их монастыри и безжалостно распродавшим с молотка почти все их земли. Племянник Томаса, сэр Ричард Вилльямс, валлиец и земляк Тюдоров, swift riding man, как называет его Карлейль, то есть "быстро разъезжающий человек", успел во время могущества своего знатного родственника и во время своих быстрых разъездов от монастыря к монастырю захватить несколько хороших имений и обогатиться. Падение старшего Кромвеля не коснулось младшего. Младший уцелел, хотя его благодетель сэр Томас и должен был сложить свою голову на плахе. Пришлось только расстаться с быстрыми разъездами и поселиться на покое в благоприобретенных имениях, имея залогом безопасности собственную ничтожность. Это, впрочем, и не было особенно скучно. Монастырские имения, хотя и несправедливо отнятые, давали великолепный доход, занятия хозяйством требовали много времени, охота и пиры доставляли достаточно развлечений неизбалованному городской жизнью сельскому дворянину. Смуты и тревоги, нарушавшие покой высшей аристократии или лондонских граждан, не тревожили сэра Вилльямса; он преспокойно гонял зайцев во время казни Анны Болейн и умер, оставив прекрасно устроенное имение своему сыну сэру Генри. Сэр Генри, прозванный "золотым рыцарем", вел роскошную жизнь; его игры славились на сто миль в окружности; он был весел, добродушен, гостеприимен и ни в ком никогда не возбуждал недоумения. Недоумение появилось лишь после его смерти, когда надо было упомянуть на могильной плите о его делах и заслугах. Сына сэра Генри звали Оливером. "У него было много детей, и он вел роскошный образ жизни", но Бог с ним! Брат его Роберт для нас интереснее, и то лишь потому, что сыном его был другой Оливер, родившийся 25 апреля 1599 года на десятом году счастливой супружеской жизни сэра Роберта с Елизаветой Стюарт, маленькой, тщедушной женщиной, горделиво говорившей о своем родстве с шотландским

королевским домом Стюартов.

Из этого видно, что Кромвель был прав, когда в своей речи, обращенной к парламенту в 1654 году, сказал, между прочим: “По рождению я был джентльмен, и если семья моя не пользовалась особенной известностью, то не оставалась и в темной неизвестности”. Темной неизвестности действительно не было. Напротив даже. От современных хроникеров мы узнаем, что в апреле 1603 года король Иаков I, проезжая с севера, остановился на два дня у дяди Кромвеля и пожаловал его орденом. Скольких хлопот и расходов обошлось дяде Оливеру королевское посещение, определить нельзя; известно лишь, что после этого материальное положение его сильно пошатнулось, зато он очень вырос в своих собственных глазах и “заметно стал говорить гораздо меньше”. Что же касается до маленького Кромвеля, то о впечатлении, произведенном на него королевским визитом, мы уж совсем не знаем. Услужливые историки уверяют, впрочем, нас, что в один прекрасный день королевская обезьяна схватила будущего лорда-протектора и унесла его на вершину дерева, но, *к сожалению,* не сбросила оттуда, что в другой, не менее прекрасный день маленький Оливер подрался с маленьким Карлом, сыном Иакова, и по своей неотесанности разбил до крови нос сопернику. В тех же хрониках можно прочесть интересный рассказ о том, что какая-то исполинская фигура являлась над колыбелью Кромвеля и, протягивая над ним руки, предсказывала ему, что он будет королем.

Образование Кромвель получил по тем временам вполне приличное. Сначала родители отдали его в школу к пуританскому проповеднику в Гунтиндоне, где он научился грамоте и хорошо ознакомился со Священным писанием. Потом уже он сам отправился в университет, и в тот самый день, в который умер Шекспир (23 апреля 1616 года), его имя появилось в матрикулах Сидней-Суссекской коллегии, куда поступали дети знатных фамилий графства. В 1617 году умер его отец, и Кромвелю пришлось оставить коллегию и отправиться к себе домой, чтобы помогать матери и сестрам по хозяйству. Восемнадцати лет он оказался, таким образом, во главе дома, что не помешало ему почувствовать, как недостаточно его образование. Желая его пополнить, он отправился в Лондон и несколько месяцев подряд занимался в конторе адвоката, нисколько, впрочем, не мечтая о карьере законника. Пребывание Кромвеля в Лондоне, первое по счету, встает перед нами изукрашенное всевозможными фантастическими рассказами, в которых Кромвель фигурирует как кутила, игрок и распутный молодой человек вообще. Гизо этим рассказам верит; Карлейль с

презрением упоминает о них. Как бы то ни было, в августе 1620 года мы застаем Кромвеля женатым на дочери дворянина, Елизавете Бургер, благочестивой молодой мисс, преданной пуританству. Женившись, Кромвель окончательно поселился в имении. Мы можем лишь догадываться, что он делал там, как распоряжался по хозяйству, как принимал участие в делах прихода, общины, графства, как учил своих детей молиться, как страдал и мучился, обуреваемый религиозными сомнениями. Подробности об этом навсегда останутся тайной; несомненно лишь то, что по примеру своего отца, отнюдь не дяди, Кромвель жил очень скромно. Едва ли он задавал пиры, едва ли охотился. Интерес его жизни сосредоточился совсем в другой области; какой – сейчас увидим.

Я не знаю ничего более поучительного, как муки гениального человека, настойчиво ищущего правды. Эти муки должны бы сделаться достоянием истории. Мы знаем, что происходило с Лютером в его юные годы, когда, одинокий в своей маленькой келье, он задумывался над вопросом о спасении своей души. К сожалению, мы слишком мало знаем о том, что происходило с Кромвелем. Но он страдал, возбуждая сильное беспокойство в собственной семье своей меланхолией, мрачным видом и припадками невыносимого душевного отчаяния. Это были молчаливые муки, слишком, однако, сильные, чтобы хотя смутный отзвук их не дошел до нас, несмотря на два с половиной протекших столетия.

Кромвель задумался над тем же, над чем задумывались все выдающиеся люди его времени, все выдающиеся люди всех времен и народов. Один, затерянный в беспредельном пространстве бытия, стоя на уделенном ему от природы и общества клочке земли, со своими мускулами, бессильными и ничтожными в сравнении с могучими стихиями природы, со своим разумом, только скользящим по голубому небесному своду, но не проникающим за него, – человек с тоской спрашивает себя, как же связать свою личную жизнь с жизнью мироздания, как оправдать свои личные радости, скорби, крохотную, но бесконечно важную для него жизнь и бесконечно страшную смерть? Есть великая тайна жизни, есть тревожные вопросы бытия, и, отдавшись им, не получая на них ниоткуда никакого ответа, Кромвель не находил ни смысла, ни цели в окружающей его обстановке и в собственных своих занятиях. В продолжение целых лет он жил изо дня в день, не будучи, быть может, в состоянии отдать себе отчета в тоске, теснившей его грудь. Он сознавал лишь одно глубокое недовольство и томление, заставлявшее его опускать руки при одной мысли о каком бы то

ни было деле. И он исполнял его механически, относясь к нему или как отец семейства, которому во что бы то ни стало надо заботиться о материальном достатке, или просто по привычке, не понимая, с чем *высшим* в жизни связано его дело, и мучаясь при мысли, что прекрасно можно обойтись и без него. Загадка жизни – “вечно тревожный и страшный вопрос” – не давала покоя великому человеку. Это загадка для каждого, но большинство живет, почти не замечая ее. Кромвель же искал ответа, быть может бессознательно даже искал, напрягая все свои могучие силы и гордо отказываясь найти успокоение в общепринятых формулах, с которыми так легко живется обыкновенному смертному.

“Не завидуй великому человеку, – говорит Карлейль, – его величие в страдании”. Отчасти это правда, конечно, и привилегия гения оплачивается обыкновенно слишком дорого. У него не хватает того качества, которое так щедро раздается скупой природой направо и налево, недостает самодовольства. Нет возможности, нет и права обзавестись им. Если и нам-то достаточно пройтись по улице, чтобы наткнуться на десяток непримиримых противоречий, то сколько видно их в жизни проникновенному взгляду гения. Счастливое легкомыслие спасает нас от излишних мук, иллюзия всегда наготове, чтобы вызвать улыбку, надежду, приток бодрости. Но за привилегию гения приходится, повторяю, расплачиваться, и притом страшно дорогой ценой.

“Мир погряз в греховности”. Это так же очевидно было для Кромвеля, как за сто лет до него было очевидно для Лютера и Кальвина. Обидное легкомыслие царит в жизни большинства людей, и, что гораздо хуже этого легкомыслия, там царят ложь и лицемерие. А между тем должна же наступить смерть, должен наступить тот роковой час, когда человек будет призван отдать отчет во всем сделанном им здесь, на земле. “На что же опереться в жизни, чтобы спокойно, без страха видеть, с какой головокружительной быстротой уходит день за днем и приближается могила?”

Нет даже ничего удивительного, если в наиболее тяжелые минуты Кромвель доходил до полноты отрицания. На все вопросы, задаваемые им бытию, он, быть может, слышал роковое холодное молчание. “Это бывает часто с религиозными натурами, пока не нашли они наконец безусловного основания для своей мысли и деятельности – безусловной веры в Бога”.

К тому же полнота отрицания – национальная “норманнская” черта. Я позволю себе привести небольшую скандинавскую сагу. Бог весть, в каком столетии появилась она. С небольшими

изменениями ее основная идея приложима и к XVII веку. Она поможет нам глубже заглянуть в муки религиозно настроенной, ищущей веры души.

В этой саге речь идет о путешествии бога Тора. После долгих скитаний и странствований бог Тор, могущественнейший из богов, вооруженный своим молотом, легко обращающим в прах и в пыль гранитные утесы, приходит в страну, населенную великанами. Те ласково встречают его, подсмеиваясь, впрочем, над малым ростом божества, и наконец предлагают ему показать свою силу. Тор соглашается, обиженный недоверчивостью и насмешками. Для начала ему дают рог и хотят, чтобы он в три глотка опростал его. Тор напрягается, каждый раз вытягивает он из рога столько, что “большая река после такого глотка раскрыла бы свое ложе”. Но странно – рог остается полным по-прежнему, и жидкость видна у самых краев его. Тор разгневан, гнев удесятеряет его силы, и он, еще более могущественный, готовый победить или умереть, выступает на новое состязание. Он должен на этот раз побороть какую-то старую плюгавую старушонку, столетнюю бабушку царя великанов. Тор охватывает ее своими железными руками, он хочет приподнять ее, чтобы потом с размаху бросить оземь. Но старушка не поддается. Ноги Тора по колена уходят в землю, а старушонка по-прежнему стоит неподвижная и подсмеивается над богом своим беззубым ртом. Тора обманули. Конец его рога был соединен с морем; он боролся не с бабушкой царя великанов, а с самою смертью, и смерть победила его. Он в гневе на этот обман приподнимает свой молот, чтобы отомстить, но вдруг вся страна со всеми людьми, замками и городами исчезает перед ним. Призраки – вот что окружало его, и призраки обманули его, сильнейшего из богов.

Так и человек.

Он, как Тор, совершает геройские подвиги, изумляющие других; во имя самолюбия или любви к истине, или во имя долга наконец, он с безумной расточительностью и вместе с тем с безумной смелостью тратит свои силы. Но можно ли выпить море? Можно ли победить старушонку смерть? И против нее даже готов восстать человек, подгоняемый иллюзиями и полный самообольщения, но приходит мгновение, и он убеждается, что вокруг были призраки, “никуда” пошли его силы, “ни к чему” привели его стремления. Как Тор, приподнимает он свой молот, чтобы отомстить за эту ложь, – и это обман. Отомстить кому? Все исчезает из его глаз: ведь все было призраком, вся жизнь была им.

Такое душевное настроение является необходимой ступенью религиозной жизни *ищущего* человека. Ведь вот если бы Кромвель взял и принял сразу готовые формулы, он избежал бы, конечно,

тоски и томления. Но ни дух времени, ни его личная натура не позволяли уложить свою веру в готовые рамки. Величие вообще избегает их, особенно в тех случаях, когда затронуты самые дорогие в человеческой жизни интересы.

Между тем традиции семьи, воспоминания детства, общее направление свободолюбивой мысли толкали Кромвеля в лагерь кальвинистов и пуритан. Первый важный этап, пройденный им, был, конечно, тот же самый, с которого началась деятельность Лютера. Надо было найти основания для религиозной мысли. Принцип Реформации подсказал ему: краеугольным камнем стали Священное писание и человеческое “я”.

Уже по тому, что все речи и письма Кромвеля испещрены цитатами из священных книг, можно заключить, что он долго и внимательно читал их. Быть может, как Лютер и Нокс, просиживал он за ними бессонные ночи, обливаясь слезами. Он верил лишь в то, что здесь истина, и что *собственный его* разум поможет ему понять ее.

Постепенно он склонялся к кальвинизму. Но тут на первых же порах его ожидала страшная вещь.

Как у человека XVII столетия, к тому же кальвиниста, сомнения Кромвеля имели специальную окраску. Учение Кальвина выросло из споров о благодати. Он довел эту догму до ее последних логических выводов. Он прямо разделил человечество на две части – избранных и осужденных. Одним обещал он блаженство рая, другим – вечные муки. В гордости своей мысли Кальвин отнял у Божества милосердие, он оставил ему одно – справедливость вечную, безусловную. Эта справедливость предопределяет, кто из людей будет спасен, кто должен погибнуть. Предопределение неизменно. Осужденному не идут впрок ни добрые дела, ни святое причастие; избранному не вредят ни грехи, ни преступления. Только избранный спасен будет. Кто же из искренних кальвинистов не мучился над вопросом, к какой категории принадлежит он? Страшный меч предопределения висел над ним, великая надежда на милосердие Божества была отнята у него жестоким учителем. В этой части учения Кальвина все страшно, все таинственно, все дышит холодом смерти и вечного осуждения.

И Кромвель мучился.

Обстоятельства, в которых находилась его родина, совсем не были таковы, чтобы придать ему бодрости. Томительно долго длилось малодушное правление Иакова Первого. Англия терпела унижение за унижением, и, еще недавно полная славы и силы в правление Елизаветы, она опустилась в разряд ничтожных европейских держав, на которые никто не обращал внимания. Это

вполне заслуженное политикой Иакова презрение оскорбляло каждого англичанина. “Внутри” было ничуть не лучше, если не хуже. “Внутри” господствовал капризный и ребяческий деспотизм Букингема и его креатур и “в продолжение уже многих лет никто не слыхал о справедливом приговоре судов”. Самый тон жизни сравнительно с тем, что было при Елизавете, заметно понизился, и “Иаков как будто поделился своими недостатками с подданными, ничуть не сделавшись от этого добродетельнее”. Этими недостатками были трусливое малодушие, праздная жизнь, в заботах только о развлечениях, постоянная готовность ко лжи и лицемерию. Церковные дела особенно тревожили верующих.

Всякий знает, конечно, как появилась на свет Божий англиканская церковь. Она представляла из себя самый обидный компромисс между католицизмом и Реформацией. Отказавшись от римского папы, создав себе другого папу в лице короля, признав его главою в делах духовных, она отдавала на его решение все свои колебания. Корона от такого положения дел выиграла очень много. Выигрыш этот, однако, сопровождался значительными неудобствами. Компромисса вообще держаться очень трудно, особенно в тех случаях, когда из него хотят устроить что-нибудь постоянное и вечное. По самой сущности своей компромисс – соглашение временное, но встать на такую точку зрения англиканская церковь не хотела ни за что. По примеру католицизма она рассматривала себя как учреждение божественное, существующее по воле Промысла. Это было по меньшей мере дерзко, так как у всех на виду она появилась по воле не Промысла, а Генриха VIII, короля английского, смертного, во-первых, и ни в коем разе не лучшего из смертных, во-вторых. Надо было обладать особенной тонкостью понимания, чтобы сообразить, каким образом те же самые аргументы, которые отрицали абсолютную власть папы над церковью, могли служить защитой такой же абсолютной власти, но уже не папы, а английского короля. У честных и искренних людей такой тонкости понимания не было, и уже с самого начала соглашение, устроенное Кранмером, рассматривалось огромным числом протестантов как затея служить двум господам, как попытка соединить поклонение Господу с поклонением Ваалу. Люди же крайних религиозных убеждений совсем не были расположены подчиняться в делах веры какому бы то ни было человеческому интересу. “Они незадолго перед тем, полагаясь на собственное истолкование священных книг, восстали против католической церкви, сильной незапамятною древностью и общим согласием. Необыкновенным напряжением умственной энергии они свергли

иго этого пышного и державного суеверия, и нелепо было ожидать, чтобы они непосредственно после такого освобождения терпеливо подчинялись новой духовной тирании. Давно привыкшие при возношении священником даров падать ниц, как бы перед присущим[4] Богом, они научились теперь рассматривать мессу как языческий обряд. Давно привыкшие смотреть на папу как на обладателя ключей земли и неба, они научились считать его зверем, антихристом, человеком греха. Нечего было надеяться, чтобы они непосредственно перенесли на власть-выскочку то благоговение, которое перестали оказывать Ватикану; чтобы они подчинили свое частное суждение авторитету англиканской церкви, основанной на одном лишь частном суждении; чтобы они побоялись отщепиться от наставников, которые сами отщепились от папы. Легко понять негодование, какое должны были почувствовать сильные и пытливые умы, гордившиеся новоприобретенной свободой, когда учреждение, которое многими годами было моложе их самих, учреждение, которое на их глазах постепенно получало свою форму от страстей и интересов двора, начало подражать надменной манере Рима".

Так говорит Маколей о настроении пуритан. Надо все же заметить, что и англиканская церковь сама не удержалась на первоначально занятой позиции. Вражда ее к римско-католическому учению и благочинию постепенно значительно смягчилась, хотя в этой-то вражде и заключался весь ее жизненный заряд, все, что давало ей право на существование. Являлась даже надежда на возможность полного примирения, хотя бы и не в ближайшем будущем.

Все это приводило в уныние и негодование людей верующих, кальвинистов, пуритан и членов крайних религиозных сект. Даже намеки на восстановление епископской власти в прежнем ее объеме и значении были ненавистны им, а при Карле I (1623 – 1649 годы) дело перестало ограничиваться намеками, и правительство, в лице архиепископа Лоуда, очень энергично стало готовиться к примирению с Римом. Но это примирение было иллюзией; чтобы осуществить его, надо было вычеркнуть три предыдущих столетия из истории Англии и каким-нибудь чудом или фокусом вырвать постепенно накоплявшуюся ненависть к Ватикану, упорно и настойчиво переходившую из поколения в поколение. Правительство искореняло ее жестоко. Тюремные заключения, варварские казни, громадные денежные штрафы – все было пущено в ход ради достижения поставленной цели, и все это привело к совершенно неожиданным для Карла I и его министров результатам. Преследование, которому

подверглись отщепенцы, было довольно жестоко, чтобы раздражить, но не довольно жестоко, чтобы уничтожить их. Оно не укротило их до покорности, но разъярило до ненависти и упорства. Рядом с лагерем недовольных образовался постепенно лагерь непримиримых, которому история назначила первую роль в наступившей бурной эпохе.

Кромвель примкнул к нему. Но это случилось не сейчас, не сразу. Несколько страниц назад мы оставили его погруженным в тяжелые недоумения, в душевный маразм, отнимавший у него всякую энергию. Как выбрался он из этого тяжелого положения? И здесь опять мы можем лишь догадываться, хотя и вообще процесс возрождения и обновления души человеческой настолько таинствен и стихиен, что едва ли есть слова для его выражения.

Прошли годы искания, и, к счастию, вместе с ними исчезли тоска и томление. С каким ужасом и негодованием смотрел потом Кромвель на этот бездеятельный и мрачный период своей жизни, представлявшийся ему блужданием по темной пещере. “Но Бог не оставил меня, – пишет он в 1636 году, – Бог снизошел в сердце мое, и я буду прославлять Его за это, буду прославлять Его, говоря, что Он сделал для моего сердца. В скудной и каменистой пустыне, где нет воды, Он дал мне росу”. Стоит остановиться на одной фразе: “прославлять Бога моего”, прославлять правдой жизни, откровенным исповедованием Его перед лицом неверующих и перед лицом других, худших еще, – лжеверующих... “Мой Бог”... Это не католический символ Божества и не англиканский символ Его; это откровенное подчинение человеческой личности Высшему началу жизни, Высшей справедливости, в служении которой должна исчезнуть и поглотиться личная жизнь. Кромвель нашел спасение в вере, религии, но эта его вера чужда какой бы то ни было догмы. Он знал лишь своего Бога и, прославляя Его, отдавал Ему свою жизнь.

С этой поры две великие идеи стали руководить Кромвелем в его деятельности. Идея самоотречения – во-первых; идея вечной справедливости, которая должна и притом необходимо должна восторжествовать здесь, на земле, – во-вторых. “И он был героем, – говорит Карлейль. – Сердцем своим чуял он ту истину, которая всегда и везде является основанием героизма и правды. Он говорил: Всемогущая справедливость управляет миром. Хорошо сражаться на стороне Бога и Его правды; слишком нехорошо – на стороне дьявола и его лжи”.

Из своего душевного маразма Кромвель вышел бойцом. Перед нами уже не скромный деревенский джентльмен, просто одетый, с угловатыми манерами, резкой речью, обыкновенно молчаливый

и, очевидно, не привыкший вращаться в приличном обществе; перед нами с этой минуты сильный общественный деятель, который прекрасно знает, чего он хочет и куда стремится. У Кромвеля был свой идеал церковного устройства; слишком ясно в то же время он сознавал недостатки современной ему политической и общественной жизни. Одушевленный своей верой, фанатически даже преданный ей, готовый ежеминутно жертвовать своей жизнью ради торжества излюбленных идей, он ждал лишь минуты, когда обстоятельства позволят ему высказаться.

Что это за идеалы и что это за излюбленные герои – мы увидим мало-помалу.

* * *

В середине 1625 года умер король Иаков I, и его место на престоле Англии и Шотландии занял Карл I.

В монархически управляемых государствах вступление на престол нового монарха знаменует обыкновенно начало новой эры. “Эры”, впрочем, может и не быть; во всяком случае, она ожидается, и ни на кого в 1625 году подданные не возлагали так много надежд, как на того государя, которого они еще не знали.

> “Несправедливо было бы отрицать, – говорит Маколей, – что Карл имел некоторые качества хорошего, даже великого государя. Он писал и говорил не так, как его отец, не с точностью профессора, но так, как говорят и пишут умные и прекрасно воспитанные джентльмены. Его вкус в литературе и в искусстве был превосходен; его манера, не будучи привлекательной, была преисполнена достоинства; домашняя его жизнь была безукоризненна. *Вероломство* было главной причиной его злополучий и остается главным пятном на его памяти. Он был поистине одержим неизлечимой склонностью к темным и кривым путям. Может показаться странным, что его совесть, которая в маловажных случаях была достаточно чувствительна, никогда не упрекала его в этом великом пороке. Но есть основание думать, что он был коварен не только по натуре и привычке, но и по принципу. Он, кажется, научился от тех богословов, которых наиболее уважал, тому, что между ним и его подданными не могло быть ничего вроде взаимного договора; что он не мог, если бы даже и хотел, отрешиться от своей

деспотической власти; что во всяком его обещании было мысленное ограничение насчет того, что такое обещание могло быть нарушено в случае необходимости. Судьей этой необходимости Карл признавал лишь самого себя".

Как видно из приведенной характеристики Маколея, ни один серьезный историк не думает отрицать достоинств и дарований Карла. Его даже очень хвалят за чистоту семейной жизни, за целомудрие, за литературный вкус. К сожалению надо заметить, что время было смутное и качеств хорошего джентльмена недоставало, чтобы быть хорошим королем. Стоит перечислить вкратце вопросы, решение которых история совсем произвольно и слишком даже жестокосердно предоставила Карлу, королю Англии и Шотландии, чтобы понять всю трудность тогдашнего положения.

1) Вопрос церковный – самый трудный и самый неприятный. На сцене действовали, боролись, ненавидели друг друга следующие партии: паписты, епископалы, староангликане, пресвитериане, пуритане, броунисты-индепенденты, впоследствии – уравнители. Из первых трех групп каждая тянула короля в свою сторону. Пресвитериане делали частые попытки прийти с ним к какому-нибудь соглашению. Остальные секты сразу заняли воинствующее положение. Это были непримиримые: одни – по принципу, как индепенденты, другие – по необходимости, то есть доведенные до этого жестокостями и преследованиями. Для первых четырех групп центральным вопросом был вопрос о епископстве. Паписты признавали одного епископа – папу; епископалы смотрели на прелатов как на священнослужителей, исполненных особой божественной благодати; староангликане глядели на епископство как на полезное, отнюдь не божественное учреждение. Пресвитериане готовы были примириться с чем угодно, лишь бы не было епископов. Остальные приходили в бешенство при одном слове "епископ". Сам Карл, как и его отец, был ревностным епископалом. Он был сверх того, в противоположность своему отцу, ревностным христианином и, не будучи папистом, предпочитал паписта пуританину. Несчастная звезда Стюартов, очевидно, руководила им в выборе своих симпатий.

2) В политике партий было не меньше. Расположим их опять по убывающим степеням преданности престолу и монархии. Мы их насчитываем пять: *абсолютисты,* как сам Карл, как Страффорд и еще несколько лиц, полагали, что надо найти нерушимое основание для деспотической королевской власти; *умеренные роялисты,* впоследствии кавалеры, лозунгом которых было:

король и Великая хартия вольностей; *пресвитерианские политики,* все время страдавшие по либеральной конституции; *индепенденты,* не признававшие никакой королевской власти, попросту республиканцы; *уравнители,* или анархисты. Но, кроме вопроса о королевской власти, ее размерах, ее границах, ее правах и прерогативах, был еще другой, общий вопрос из области внутренней политики. В 1629 году английский народ с удивлением узнал, что его представители, заседавшие в нижней палате, втрое богаче, чем пэры королевства. Третье сословие (буржуазия), очевидно, выросло, и притом так сильно, что оно стремилось к фактическому могуществу и хотело выразить его в юридических нормах. До сей поры оно играло роль меньшего сына. Старшими были пэры королевства (палата лордов) и духовенство. Третье сословие требовало первенства. Но уступить ему значило поступиться своими правами и привилегиями. Добровольно согласиться на это было трудно. Отсюда борьба, и так как нижняя палата разрешала налоги и снабжала правительство деньгами, то ясно, стоя на какой позиции нижняя палата эту борьбу начала. Король требовал денег; палата требовала прав. Король отказывал в правах, палата – в деньгах.

3) Вопросы внешней политики в нашу программу не входят. Поэтому мы можем ограничиться лишь указанием на то, что и там ничего отрадного не было. Народ громко выражал негодование, что Англия утеряла весь свой престиж и все свое значение в Европе. Надо было их поднять. Только, к несчастью, не Карлу суждено было сделать это.

Если читатель вдумается в приведенные трудности и примет еще во внимание, что в XVII столетии люди были несколько экспансивнее сравнительно с настоящим поколением; что религиозная идея и даже религиозное одушевление, проникавшие собою жизнь большинства, давали верующим несокрушимую силу; что малодушие, вызванное спекуляциями (увы – не философскими), конкуренцией, ожесточенной и, к сожалению, решительно ничем, кроме животолюбия, не отягощенной борьбой за существование, было далеко не так распространено, как в наше время; если, говорю я, читатель все это примет во внимание, то он согласится, что положение Карла Стюарта было не из лучших, во всяком случае – не из блестящих. А тут еще “пристрастие к вероломству”, вероломству, так сказать, принципиальному. Всякий раз, как ему хотелось отделаться от приставаний нижней палаты и получить с нее деньги, он говорил: “Soit fait comme il est desire”, то есть – да будет сделано, как вам это желательно, в уме же своем прибавлял: *“пока* мне это угодно”. Это *пока* обошлось ему чересчур дорого.

“Карл никогда не дорожил друзьями, никогда не уважал своих врагов”. Карл верил, что он защищен от всего – клеветы, неудачи, суда, несчастия. Поэтому-то он никогда не заботился о приобретении себе сторонников. Зато Карл не упустил ничего, чтобы возбудить недоверие даже в людях преданных.

Самое характерное – это, конечно, отношение Карла к парламенту. Пусть читатель сам судит о том по краткому изложению, сделанному Маколеем. “Почти с первого же дня по вступлении на престол Карла началась та азартная игра, в которой были поставлены на карту судьбы английского народа. Парламент давал ему очень скудное количество субсидий. Он увидел необходимость управлять или *вместе* с палатой общин, или же – вопреки всем законам. Его решение не замедлило последовать. Он распустил свой первый парламент и собрал налоги собственной властью. Он созвал второй парламент, но нашел его несговорчивее первого. Тогда он снова прибегнул к роспуску, собрав новые подати без всякого подобия законного права, и заключил предводителей оппозиции в тюрьму. В то же самое время новое оскорбление, которое, вследствие особенных чувств и привычек английской нации, было невыносимо тягостным и которое всем прозорливым людям показалось страшным предзнаменованием, возбудило общее неудовольствие и смятение. Роты солдат были размещены по квартирам граждан, и военный закон заменил в некоторых местах древнюю юрисдикцию государства. Король созвал третий парламент (1629 год) и скоро заметил, что оппозиция была сильнее и ожесточеннее, чем когда-либо. Тогда он решился переменить образ действий. Вместо того, чтобы оказывать требованиям палаты общин непреклонное сопротивление, он, после долгих прений и многих уклонений, согласился на мировую сделку, которая – останься он ей верен – отвратила бы целый ряд бедствий. Парламент назначил щедрые субсидии, а король утвердил знаменитый закон, известный под именем “Прошения о правах”. Этот закон представляет собою вторую Великую хартию английских правительственных форм. Утверждая его, Карл обязался никогда вперед не взимать податей без согласия палат, никогда вперед не заключать никого в тюрьму без соблюдения законного порядка и никогда вперед не подчинять свой народ юрисдикции военных судов. День, когда королевская санкция после многих отсрочек торжественно узаконила этот государственный акт, был днем радости и надежд. На ликования парламента откликнулись голоса столицы и нации; но через три недели обнаружилось, что Карл вовсе не имел намерения соблюдать заключенное им условие. Обнаружилось и еще нечто

гораздо худшее: королевский типографщик Нортон сознался, что на другой день по закрытии парламента он получил приказание *изменить текст* билля, уничтожить все экземпляры, заключавшие в себе настоящий королевский ответ, – тот ответ, которым хвалился король, говоря: “Я сделал все, что от меня зависит; отныне меня не в чем более упрекать”. Между тем субсидии, назначенные представителями нации, были собраны. Обещания, данные королем, были нарушены. Последовала жестокая борьба. Парламент был распущен со всеми знаками королевского неудовольствия. Некоторые из именитейших членов были заключены в тюрьму, и один из них, сэр Элиот, промучившись несколько лет, умер в заточении. Карл, однако, не мог решиться взимать собственною своею властью подати, достаточные для ведения войны. Поэтому он поспешил заключить мир со своими соседями и с тех пор устремил все свое внимание на британские государственные дела. Тогда началась новая эра. Многие английские короли порою совершали противоконституционные действия, но ни один не пытался систематически сделаться деспотом и обратить парламент в ничто. Такова, однако, была цель, которую Карл определенно себе задал. С марта 1629 года по апрель 1640 года палаты не созывались. Никогда в истории Англии не было одиннадцатилетнего промежутка между парламентом и парламентом. Только однажды был промежуток, ровно вполовину короче. Одного этого факта достаточно для опровержения тех, кто утверждает, что Карл шел по следам Плантагенетов и Тюдоров”.

Свидетельством самых ревностных приверженцев короля доказано, что в этот период его царствования параграфы “Прошения о правах” (Petition of Rights) нарушались им не случайно, а систематически и постоянно, что огромная доля государственного дохода взималась без всякого законного основания и что лица, ненавистные правительству, томились целые годы в тюрьме, ни разу не будучи вызываемы в суд для защиты. В Англии господствовал капризный и раздражавший всех своей дерзкой самоуверенностью деспотизм королевского любимца, герцога Букингемского. Наконец “милорд” был убит. Но от этого никому не стало легче, так как король, сделавшись с этого времени сам своим первым министром, шел той же дорогой. В Ирландии хозяйничал Вентворт, пытаясь во что бы то ни стало создать постоянное войско для поддержания произвола. Церковное управление находилось преимущественно в руках Вильяма Лоуда, архиепископа Кентерберийского. Несомненно, что из всех прелатов англиканской церкви Лоуд наиболее приблизился к католицизму. Его страсть к церемониям, его

уважение к праздникам, повечериям и священным советам, его дурно скрытое нерасположение к бракам духовных лиц, горячая и не совсем бескорыстная ревность, с какою он поддерживал притязания духовенства на уважение мирян, сделали бы его предметом отвращения для кальвинистов, если бы даже он употреблял только законные и благородные меры для достижения своих целей. Но, упрямый и подозрительный, он всегда действовал через шпионов. Каждый уголок государства подвергался назойливому и мелочному надзору; каждая небольшая сходка сепаратистов выслеживалась и разгонялась. Даже религиозная жизнь частных семейств не могла укрыться от бдительности сыщиков Лоуда. Строгость его наводила такой страх, что смертельная ненависть к церкви вообще скрывалась под личиною согласия с господствующею религией. Накануне роковых служб епископы различных епархий доносили Лоуду, что в их ведомствах нельзя было найти *ни одного диссентера*[5] — отступника.

Чтобы поддерживать свой деспотизм, Карлу надо было прибегать к экстраординарным мерам. Суды не оказывали подданному никакого покровительства против гражданской и церковной тирании этого периода. Судьи общего права были постыдно угодливы. Но при всей их угодливости они были менее покорными и действительными орудиями произвольной власти, чем тот разряд судов, память о которых доселе, по прошествии целых двух столетий, внушает нации глубокое омерзение. Из числа судов главнейшими по могуществу и бесчестности были Звездная палата и Верховная комиссия, первая – политическая, а вторая – религиозная инквизиция. Ни та, ни другая не входили в состав древней английской конституции. Звездная палата была преобразована, а Верховная комиссия утверждена Тюдорами. Власть, какою обладали эти суды до восшествия на престол Карла, была обширна и страшна; но в сравнении с тою, какую они присвоили себе, она была совершенно ничтожна. Руководимые преимущественно жестоким духом Лоуда и освобожденные от парламентского контроля, они выказывали хищничество, насилие, злобную энергию, неизвестные предшествующим векам. С их помощью правительство имело возможность штрафовать, заключать в тюрьму, выставлять к позорному столбу и увечить кого угодно без всякого ограничения. Отдельный совет, заседавший в Йорке, был облечен, вопреки закону, почти неограниченною властью над северными графствами. Все эти судилища ругались и издевались над авторитетом закона и ежедневно совершали бесчинства, которые достойнейшие роялисты горячо порицали. По словам Кларендона, в государстве

не было почти ни одного именитого человека, не испытавшего на себе жестокости и жадности Звездной палаты; Верховная комиссия вела себя так, что у нее не осталось почти ни одного сторонника в королевстве, а тирания Йоркского совета, к северу от Трента, обратила Великую хартию в мертвую букву.

Карлу недоставало лишь постоянного войска, чтобы по власти и могуществу сравниться с французскими королями. Он понимал, что без этой опоры все его здание строится на песке. Но где найти нужные деньги или, по крайней мере, благородный предлог для новых обложений?

Хранитель печати, лорд Финг, предложил собрать корабельную подать. Карл поспешно согласился на это. Древнее право английских королей было, по-видимому, на его стороне, но это только по-видимому. Прежние государи взимали корабельную подать лишь в военное время; теперь же она требовалась среди полного мира. Прежние государи, даже в пору самых опасных войн, взимали корабельную подать только вдоль берегов; теперь же она требовалась с внутренних графств. Прежние государи взимали корабельную подать только для морской защиты страны; теперь же она требовалась, по сознанию самих роялистов, не для содержания флота, а для доставления королю субсидий, которые он мог бы увеличивать по своему усмотрению до какой угодно суммы и расходовать по желанию, на что заблагорассудится.

Вся нация была встревожена и раздражена.

Тогда один дворянин из графства Букингем, по имени Джон Гэмден, близкий родственник Оливера Кромвеля, подал сигнал национальной оппозиции. И прежде него многие делали такие же попытки, но без успеха. И они отказывались платить корабельный налог, требуя, чтобы дело было перенесено в королевский суд и чтобы им позволено было торжественно доказывать незаконность таксы и законность их отказа; но двор всегда умел как-нибудь отстранить эти прения. Гэмдену же удалось сделать так, что ему не отказали. Он заявил о своем полнейшем нежелании уплатить двадцать шиллингов, назначенных на его долю, но заявил без гнева, без шума, заботясь единственно о том, чтобы право стало в его лице предметом торжественного суда. В темнице, куда его немедленно препроводили, вел он себя также спокойно и скромно, требовал разбирательства, утверждая, что интерес короля не меньше связан с законным решением такого вопроса. Король, обнадеженный недавним уверением судей, что в случае крайней необходимости корабельная такса может быть признана законною, наконец согласился и даровал Гэмдену право суда. Адвокаты Гэмдена поддерживали его с тем же благоразумием, какое он сам обнаружил, отзываясь о короле и прерогативах его

власти с глубочайшим уважением, избегая всяких восклицаний, всяких сомнительных теорий, опираясь только на законы и историю государства. Один из них, мистер Гольборн, даже несколько раз прерывал свою речь, прося судей извинить его за энергию выражений и предупредить, если он перейдет границы, предписанные приличием и законом. Сами коронные адвокаты хвалили Гэмдена за его скромность. Процесс продолжался тринадцать дней. В течение этого времени посреди всеобщего раздражения были обсуждаемы основные законы страны, и между тем защитникам прав нельзя было сделать ни единого упрека в увлечении или мятежных замыслах. Доводы против притязаний короны были так сильны, что, несмотря на зависимость и раболепие судей, большинство против Гэмдена оказалось незначительное (четыре голоса). Все же это было большинство, и 12 июня 1637 года Гэмден был осужден, чем Карл остался очень доволен, полагая, что таким образом его абсолютизм одержал полную победу.

Однако он ошибался и даже очень сильно.

> “С этой поры, – говорит Гизо, – народ перестал ожидать чего-либо от властей и законов и, потеряв надежду, приобрел мужество. Недовольство, до того времени не имевшее ни единства, ни связи, сделалось единодушным. Дворяне, горожане, фермеры, купцы, пресвитериане, сенаторы – вся нация была поражена этим приговором. Имя Гэмдена было у всех на устах: везде произносили его с любовью и гордостью, ибо участь его была изображением участи народа, а его поведение делало честь этому народу. Друзья и слуги короля едва осмеливались отстаивать законность его победы. Судьи оправдывались и почти признавались в своей низости, думая этим заслужить прощение...”

Начиналась революция.

Что же ее вызвало? Быть может, после того, что сказано выше, этот вопрос покажется излишним. Однако немаловажные причины заставляют меня посвятить ему еще несколько строк.

Заметим прежде всего, что и Гизо, и Маколей, говоря об английском народе и нации, которая тревожится, раздражается, оппонирует и пр., грешат некоторой неточностью. Народ собственно, то есть масса населения, все это время молчит и долго еще будет молчать. Процесс Гэмдена произвел на него, по всей вероятности, такое же впечатление, как приключившаяся в том же году смерть китайского богдыхана. У народа, как мы это ясно увидим ниже, были свои заботы и интересы. А о

политических правах он не мечтал. О них мечтали низшее дворянство и буржуазия. В то время это были самые активные классы общества, страшно разбогатевшие при Тюдорах и находившие, что давно пора присвоить себе кое-какие права и преимущества, которыми до сей поры пользовались король, лорды и духовенство. Программа их политической конституции была проста и сводилась к торжеству нижней палаты.

> “Ум их (речь идет о низшем дворянстве), – говорит Гизо, – не занимали философские теории, ученые различия между аристократией, демократией и монархией; единственным идеалом их была нижняя палата. Она в их убеждении являлась представительницей дворянства и народа, древнего союза дворянства и нации; она одна в прежние времена защищала политическую свободу и одна была способна вновь завоевать ее. Говоря о парламенте, разумели только нижнюю палату. Законность и необходимость ее полновластия – вот идея, которая понемногу укоренялась в умах”.

В делах церковных все единодушно защищали реформу и так или иначе стремились восстановить первобытную чистоту церкви, забытую и уничтоженную за долгие века господства католицизма.

Но это не все. Остается еще многое, и это многое можно обобщить термином “человеческое достоинство”.

Термин сам по себе ясный, но каждая эпоха понимает его несколько по-своему, особенно когда речь заходит о размерах. Иногда люди довольствуются чрезвычайно малым, но все же это малое нужно им не меньше, если не больше, чем хлеб и вода. Негры на американских плантациях покорно выносили удары кнутом, насилие над своими женами и дочерьми, продажу своих детей, но они приходили в бешенство, когда их называли собаками. “Женщины одного африканского племени, взятые в плен, не плачут и не жалуются на свою судьбу. Они не протестуют даже в том случае, когда их не кормят целыми днями. Они совершенно нагие. Только позади на спине у них прикреплен пальмовый лист средней величины. Кто хочет довести до бешенства этих несчастных существ, тому стоит только взять и вырвать у них этот лист. Тогда они бросаются на землю, катаются в страшной ярости и не хотят продолжать пути, несмотря на жестокие удары плетью. Они готовы лучше умереть, чем показаться другим без своего “украшения”...

Следовательно, предел, за который не может переходить издевательство над человеком и попрание его прав, привычек,

наклонностей, существует, меняясь для каждого человека и каждого народа, каждой эпохи и каждого поколения.

“Уважение к самому себе – величайший дар, полученный англичанами от своей истории”. Хотя подобное самоуважение нередко переходит в самодовольство и, говоря вообще, отличается излишней дозой самоуверенности, все же это большая и серьезная сила. Англичанина трудно даже обмануть блеском победы и приобретений, в чем не раз с грустью приходилось убеждаться лордам Мальборо, Веллингтону и Биконсфильду. Несмотря на лавры, англичанин будет требовать еще уважения к своему “я”, а это свое “я” понимается им прежде всего как существо самостоятельно мыслящее, чувствующее и даже действующее. К *этому* его приучила история, и во имя этого он боролся с папой, Плантагенетами, Тюдорами и Стюартами. Как свой очаг, так и свою личность он сумел защитить от слишком произвольных вторжений. Умелые правители, как, например, Елизавета, прекрасно это понимали и умели останавливаться вовремя “возле дверей частного дома”. В этом, между прочим, тайна их успеха.

Англия управляется королем, палатой лордов, нижней палатой и еще сама собой. Это не острота, а сущая истина. Принцип общинного самоуправления нигде не имеет такого блестящего исторического прошлого, как в Англии. Даже Вильгельму Завоевателю пришлось признать его. Он вошел в плоть и кровь английского законодательства. Под его знаменем совершалось все развитие нации.

Словом, рядом с государством существует общество.

Оно заявляет о себе постоянно. Стоит только стране встревожиться чем-нибудь, как десятки и сотни добровольных ассоциаций образуются в городах и графствах. В одной из этих ассоциаций, между прочим, началась деятельность Кромвеля. В древности эти ассоциации назывались гильдиями. С течением времени они изменили свое наименование, но дух их остался. Этот дух выражается в одном слове – self-reliance (самоопора, самоподдержка).

Эта self-reliance – основа политической и *нравственной* жизни англичанина. Как нельзя лучше мирится она с принципом добровольной ассоциации. Поэтому Ришелье и Людовик XIV никогда не могли появиться в английской истории. Они, особенно последний, слишком мало уважали человеческую личность. Они всегда смотрели на нее как на средство, один – исключительно величия государства (grandeur d'etat), другой – своего собственного (“L'etat c'est moi”, – говорил Людовик XIV, то есть: государство – это я).

Следовательно, уважая самого себя, англичанин уважает прежде всего свою самодеятельность, неприкосновенность своей личности. Защиту для нее он находил в Великой хартии вольностей (1215 год), в “Прошении о правах” (1628 год), в “Декларации прав” (1688 год). Это – три столпа английской конституции.

Теперь понятно, до какой степени была *антинационалъна* политика Карла и его министров – Букингема, Страффорда и Лоуда. Карл стремился к произволу. Йоркский совет и верховная комиссия должны были обезличить политическую и общественную жизнь народа. Звездная палата – его духовную и религиозную жизнь. Как централизатор, Карл не мог выносить, чтобы Шотландия была без епископов. Можно привести сотни примеров, когда в его управление королевская администрация незаконно вмешивалась в жизнь общин. Первое столкновение Кромвеля с правительством произошло из-за *этого.* Особенно архиепископ Лоуд, примас Англии, настаивал на однообразии культа. Диссентер любого направления и оттенка был неприятен ему, прежде всего как диссентер. Мы уже говорили, что шпионы Лоуда врывались в частные дома. Страффорд задумывал учреждение постоянного войска. Что бы сталось тогда с Великой хартией, парламентом, self-reliance'ом?

Английская революция была, таким образом, защитой исторического прошлого, защитой национальных принципов. Мы увидим, что в конце концов у нее появились и *новые* цели, но эти новые цели появились неожиданно для нее самой.

Еще одно слово на ту же тему о “достоинстве”.

Деспотизм деспотизму рознь. Деспотизм Карла, Букингема и Лоуда был один из самых невозможных. Я уже говорил, что Елизавета Тюдор, несмотря на свои замашки завзятого абсолютиста, умела останавливаться вовремя и всегда соглашалась на уступку, если замечала, что нарушала заветы исторического прошлого нации. Без нужды *частных* верований, частной жизни Елизавета никогда не затрагивала. Но это еще не все. Елизавета умела воодушевлять людей на великие дела. Сама великая, она искала величия и ценила его. Она обладала чудной способностью гения – воодушевлять людей. “По ее слову всякий становится героем”. Оттого-то даже те, кто подвергался по ее приказанию позорной казни, поднимали на эшафоте свои отрубленные руки с криком: “Во славу нашей королевы”. “Наша королева” была великий человек; каждый чувствовал это, каждый признавал за ней право держаться *своей* мысли, казнить и миловать. Капризная и себялюбивая, не способная простить Марии Стюарт за то, что та *красивее* ее, Елизавета такими делами,

как борьба с Испанией, оправдывала свой деспотизм в глазах англичан. Да, оправдывала. И почему? Потому лишь, что она каждого англичанина делала *выше* в его собственных глазах. Наконец, когда она казнила своих врагов, она никогда не издевалась над человеком.

Суть, следовательно, не в строгости, а в том, во имя чего она? как и чем поддерживается? повышает ли она человека или понижает его? Всякий согласится, я думаю, что целая пропасть лежит между строгостью Петра Великого и "курляндца" Бирона. Такая же пропасть была между политикой Елизаветы и Карла Стюарта.

Елизавета вдохновляла людей на великое. Карл, Букингем, Лоуд развращали. И что другое могли они делать? К каким струнам человеческого сердца обращались они, чтобы создать себе сторонников? Они подкупали их. Чего они требовали, когда не могли добиться согласия? Лицемерия. И к этому лицемерию ежеминутно и постоянно вынуждался человек, если хотел добиться хотя бы ничтожного спокойствия в своей личной жизни. Он должен был лицемерить даже в кругу своих домашних. Шпионы Лоуда вторгались внутрь его семейного очага и требовали, чтобы человек лгал на своей вечерней молитве, как лгал он, присутствуя с благоговейным видом на торжественной мессе. Карл подкупал или, по меньшей мере, старался всегда подкупить членов оппозиции. Когда это ему не удавалось, он морил их в тюрьме, презирая их, мучая их, мстя им за то, что они – честные люди. До государственной точки зрения он, к несчастью, не возвышался никогда. У него всегда были личные враги, и он изобретал над ними всевозможные издевательства. "Казни стали жестокими и *унизительными,* дело доходило до того, что прежде чем оторвать уши приговоренному, его били по щекам!.."

Во все время правления Карла человек чувствовал, что с каждым днем он становится меньше и меньше. Елизавета доказала ему, что Англия – великая и могучая страна, которая имеет право не только жить, но и первенствовать. Карл доказывал совершенно противное. При нем Англия шла не в счет. Елизавета всегда преследовала великие цели и осуществляла великие замыслы. Импульс великого передавался каждому подданному, и он с восторгом сознавал это. Карл, Лоуд плодили лицемеров, ханжей, людей, спокойно торговавших своей совестью. Ни о каких великих предприятиях они, конечно же, не думали.

Это печалило и раздражало всех. Те, кто впоследствии восстал против Карла, не могли пожаловаться, что их грабят и доводят до нищеты. Напротив, подданные Карла богатели, и

страна без затруднения внесла бы двойные и тройные подати, в сравнении с теми, какие налагались на нее правительством. Не о лишнем шиллинге шел спор, шел спор о человеческом достоинстве. Искренне оскорблялись пуритане, видя вторжение папизма, искренне негодовали Гэмден и люди, подобные ему, видя нарушение закона. У этих людей был Бог, и они были послушны Ему. Как Кромвель, дали они клятву прославлять своего Бога перед лицом неверующих и лжеверующих, хотя бы при этом пришлось пожертвовать самим собой. Но что божественного было в политике, проводившей настойчиво в жизнь народа принципы ханжества и лицемерия?

* * *

Где же был в это время Кромвель и что он делал? Увы! – почти незаметно должны промелькнуть перед нами двенадцать или тринадцать лет его биографии. В летописях человечества зачастую бывает легче найти подробности о жизни и смерти излюбленной собачонки какой-нибудь знатной дамы, чем о мыслях, делах и чувствах великого человека.

Мы оставили его в конце 1624 или в начале 1625 года освободившимся от своего душевного маразма и уверовавшим, что на земле можно жить, лишь исполняя волю Провидения. В этой мысли он нашел свой душевный покой и постоянный стимул для деятельности. В своих религиозных убеждениях он несомненно ближе всего подходил к кальвинизму. Образ сурового Божества, нарисованный женевским пророком, непреклонно проводящего в жизнь людей идею высшей справедливости, требующего постоянного покаяния в своих грехах, постоянной борьбы со страстями и легкомыслием, не давал покоя и Кромвелю. Но было бы, пожалуй, слишком смело называть его кальвинистом и только. Кальвинизм хотя и широкая, но все же догма. Кажется, Кромвель с самого начала (впоследствии-то уж несомненно) перешел за ее границы, склоняясь все более и более в сторону безусловного религиозного индивидуализма. Своей жизнью он хотел прославлять своего Бога. Во всяком случае, он искренне сочувствовал пуританам, заботился о том, чтобы не распадались их общины, жертвовал деньги на содержание проповедников. Уверяют даже, что возле Эли все еще сохранилась часовня, где проповедовал он сам...

Несомненно, что он внимательно следил за общественной и политической жизнью своей страны. Даже в это время его имя встречается обыкновенно наряду сименами Пима, Гэмдена и

других им подобных. Он не мог не интересоваться процессами Прэна, которому оторвали (не обрезали, а оторвали) уши на публичной площади, как вору и мошеннику, за неодобрение системы Лоуда-Гэмдена, не мог не следить за ними, затаив дыхание, не мог не спрашивать себя, чем и когда все это кончится. Существует легенда, будто в один туманный день будущие вожди парламента и армии – Пим, Гэмден, Кромвель – готовы были сесть на корабль и переселиться, по примеру многих своих единоверцев, в Америку – до того трудно дышалось им воздухом старой Англии, зараженным ханжеством и насилием. Легенда прибавляет, что чиновники короля, внезапно явившись, не разрешили кораблю выйти из порта. Напрасно не разрешили... если это не легенда.

Впрочем, кое-что и не легендарное мы знаем из жизни Кромвеля за этот долгий (1624 – 1637 годы) и темный период. Это "кое-что" сводится к следующему:

В марте 1628 года граждане родного города избрали Кромвеля депутатом в третий, сильно оппозиционный, парламент. Таким образом он в Вестминстере подавал голос за "Прошение о правах" – эту, как помнит читатель, жалобу на склонность клира к папизму и на покровительство, оказываемое двором иезуитам. 11 февраля 1629 года он говорил свою первую речь в религиозной комиссии. Уже давно вел он борьбу с англиканским духовенством; давно желал он распространить в общинах и повсюду чтение Библии и свободное толкование ее; он смело упрекнул своих врагов в ханжестве и нарисовал яркую картину лицемерия и низкопоклонства, существовавших в жизни клира. "Если таковы, – воскликнул он в заключение, – в церкви ступени для получения мест и повышений, то чего мы можем ожидать впоследствии?" Для показаний против одного из злейших епископов он предлагал пригласить в качестве свидетеля благочестивого Ворда, но этому помешало закрытие парламента, распущенного 2 марта 1629 года со всеми знаками королевского неудовольствия.

После этого Кромвель опять вернулся к своим пенатам и провел в деревенском уединении целых одиннадцать лет (1629 – 1640 годы). Как видно, из документов, он был немало времени мировым судьею и вел борьбу с правительством за нарушенные последним привилегии общинного самоуправления. Потом он "осушал болота", занимался хозяйством, скорбел, глядя на охватившую все государство реакцию, помогал пуританам деньгами, советом... Но мы стали бы совершенно напрасно искать какого-нибудь блестящего события в его жизни за все эти утомительно долгие одиннадцать лет.

Такого блестящего события не было.

По этому поводу Карлейль предается многим небезынтересным размышлениям. Ничто не мешает и нам хотя бы вкратце познакомиться с ними. Великий историк отмечает в своем излюбленном герое одну любопытную черту, именно скромность. Надо согласиться, что Кромвель на самом деле отличался ею. Не та, конечно, это скромность, про которую в прописях сказано, что она украшает дев и юношей. Это скромность силы, высокой и серьезной, которая утеряла свое тщеславие, слившись с громадным и всецело поглотившим ее делом. В действительно великом человеке не может быть нетерпеливого желания выдвинуться, нетерпеливого и настойчивого ожидания, чтобы заслуги его немедленно были признаны и вызвали соответствующие восторги. В изречении Бюффона: “Гений – это терпение” – если не все, то многое справедливо, и, в таком случае, кто терпеливее Кромвеля? Природа предназначала ему занять первое место среди людей. Она предопределила ему власть королей и императоров, власть героя над преданной и покорной ему толпой. И когда настал час, он, конечно, не отказался от нее... Но до наступления этого часа он скромно удовлетворялся незначительной деятельностью в пределах своего прихода. А между тем недюжинные силы кипели в нем. Быть может, и тоска его юности была отчасти вызвана этим страшным несоответствием между гениальными дарованиями и незаметной участью деревенского дворянина. Кромвель примирился на *принципе*. Этот принцип был абсолютен. Прославление Бога возможно и не на широкой исторической арене; широкая историческая арена не могла появиться без стечения счастливых случайностей. Не каждый день выпадают они, и Кромвелю пришлось ожидать их 44 года! Однако он не будировал[6] и не уходил от жизни. Честный семьянин, он был в то же время честным гражданином...

Маколей говорит про него: “Он был воспитан для мирных занятий”. Не видно, чтобы честолюбие съедало его, чтобы лавры политика или дипломата не давали ему спать по ночам; видно зато, что никогда ни о каком протекторате над Англией он не мечтал и мечтать не мог. Но разве он сидел сложа руки и плакался “на реках вавилонских”? Скромность позволяла ему браться за самые маленькие дела, лишь бы велик был принцип. А ведь он может отражаться даже в защите общинных привилегий, как отражается “солнце в малой капле вод”.

Особенно любопытны те мотивы, те свойства, которые Кромвель всегда искал в людях и, найдя их, наиболее ценил. Здесь было бы очень удобно сравнить его с Наполеоном.

Последний выступил на мировую сцену смело и дерзко, провозгласив свою знаменитую формулу “la carriere est ouverte aux talents” (карьера открыта для талантов). У него также было фанатически преданное войско; но чем возбуждал он его к геройским подвигам, настоящим подвигам титанов? Обаянием своей личности? Прежде всего этим. А дальше? Чувством долга? Нет. Наполеон говорил им о славе, о деньгах, о наградах; он напоминал, что сорок веков смотрят на них с высоты пирамид; он настойчиво вызывал к жизни чувство успеха, славолюбие. Не так поступал Кромвель. Никогда не мечтал он о всемирном владычестве, даже мысль о нем не являлась ему. Имея в своем распоряжении громадную силу, он сравнительно мало вмешивался в европейские дела. Он сам проповедовал своим солдатам. Он говорил им о царстве Вечной Справедливости, о торжестве истины и веры над ложью и идолопоклонством. Посылая их на смерть, он звал их исполнить свой долг. Не в личном счастье человека искал он оправдания для его поступков и не к личной пользе обращался он, когда надо было подвигнуть на общее дело. Мысль о чем-то другом, бесконечно высшем, ни на минуту не покидала его – то была мысль о вечности. Ей-то человек должен принести в жертву самого себя, и она обращает его жизнь в долг. И он сам всегда шел впереди всех, не боясь ответственности. Первый на поле битвы, первый в битве жизни, он первый принимал удары судьбы, и глубокой складкой легло страдание на его чудном лице – лице гения.

Глава II. Борьба с королем. Армия Кромвеля

Долгий парламент. – Пресвитерианская революция. – Индепенденты. – Армия парламента и армия Кромвеля. – Победы над королем. – Казнь Карла I

Так как я очевидно не имею ни малейшей возможности подробно излагать историю Англии, то читатель извинит меня за краткость, с какою я буду останавливаться на событиях, не имевших прямого отношения к жизни Кромвеля.

3 ноября 1640 года сошлось в Вестминстере большое и торжественное собрание, сделавшись потом известным в истории под названием “Долгого парламента”. Только исключительные обстоятельства заставили Карла обратиться к нему за помощью. Целых одиннадцать лет правил он без парламента, пока несчастная звезда не впутала его в войну с Шотландией. В этой стране Карл во что бы то ни стало хотел водворить епископов. К сожалению, шотландцы не только не согласились на это, а взялись за оружие, разбили королевские войска и теперь, 3 ноября 1640 года, стояли в северных графствах, ожидая уплаты обещанных им денег и грозя в противном случае двинуться на Лондон. Обстоятельства, как видит всякий, критические, но Карл все еще не терял своей самоуверенности. Ему хотелось во что бы то ни стало добиться немедленно вотирования[7] выдачи денег. Но парламент предпочел сперва заняться “собственными делами”, понимая, что теперь на его стороне такие шансы, какие могли бы не представиться никогда больше. Не было возможности распустить его, так как, повторяю, шотландцы грозили Лондону.

Парламент не терял времени. 11 ноября Пим, ставший с самого начала во главе собрания, обвинил Страффорда – правую руку короля – в его абсолютных стремлениях, в государственной измене. В сущности обвинение было несправедливо, но оно сразу говорило о том, чего хочет добиться нижняя палата и какой политики она намерена держаться. Это была политика войны. Ее принцип, как всегда, гласил: “a la guerre comme a la guerre”[8]. Несмотря на блестящую защиту, смутившую самых непримиримых врагов, 12 мая 1641 года Страффорд взошел на эшафот. Он умер, как умирают герои.

Казнь Страффорда послужила как бы сигналом к междоусобной войне. Сильно и быстро наносил парламент один удар за другим. Имея позади себя постоянную угрозу – шотландскую армию, он заставил короля в феврале согласиться

на билль, в силу которого выборы в палату должны были отныне совершаться по крайней мере раз в три года, даже в том случае, если бы король не находил нужным, со своей стороны, созывать парламент. В мае король подписал постановление, что существующий парламент не может быть распущен без собственного согласия; нижняя палата благодаря этому захватила в свои руки диктатуру. Вскоре за тем корабельный налог был объявлен незаконным; пошлина с привозимых товаров отныне могла взиматься лишь с согласия парламента. Существованию Звездной палаты и Верховной комиссии был положен конец, вследствие чего король лишился права прибегать к каким бы то ни было экстраординарным сборам, бесконтрольно производить расходы и заключать своих подданных в тюрьму без предварительного расследования дела обыкновенным судебным порядком.

К июлю все было кончено. Иными словами, к июлю даже тень власти была отнята у короля. В августе подписали договор с шотландцами, заплатив им большие деньги. Спрашивается, почему же нижняя палата не считала себя удовлетворенной? Чего хотела она еще? Она хотела залогов, ручательств, обеспечении. Могла ли она доверять Карлу? Невозможно было предположить, что он согласится навсегда лишиться той власти, на которую его приучили смотреть как на принадлежащую ему вполне и безраздельно. Он, пожалуй, не стал бы нарушать те законы, которые установились с его же согласия; но существовали сотни косвенных путей, на которых он мог бы собрать уцелевшие остатки королевской власти с тем, чтобы попытаться еще раз подчинить Англию своей тирании.

Оттого-то парламент не расходился, а продолжал наступать все настойчивее. Еще в марте был предложен билль об устранении вмешательства епископов в светские дела. Верхняя палата решительно отвергла его. Это подстрекнуло нижнюю к борьбе. Она отвечала биллем, в котором требовалось совершенное уничтожение епископского достоинства в англиканской церкви. Это показалось слишком резким и радикальным. Вокруг короля стала смыкаться партия умеренных, и если бы в эту минуту ему удалось вселить в своих подданных веру в то, что он искренне подчинялся новому порядку вещей, кто знает, может быть все пошло бы хорошо, для него по крайней мере. Но подобной веры Карл никогда внушить не мог и не хотел. К тому же несчастная звезда Стюартов и теперь была против него. Уверяют даже, что в этом году она блестела особенным, кровавым блеском...

1 ноября 1641 года по Лондону разнесся тревожный слух, что

в северной части Ирландии вспыхнуло восстание. Говорили об ужасных жестокостях, совершенных инсургентами. Вся Англия верила, что женщин раздевали донага и морили холодом и голодом, что других топили в реке, что невинных детей топили так же бесчеловечно, как и взрослых, что те, которым удавалось спастись от меча и палицы ирландских дикарей, странствовали без приюта по разным трущобам до тех пор, пока смерть не полагала предела их страданиям. Наименьшую цифру жертв, погибших за это время, Англия определяла в тридцать тысяч.

И по всей стране пронесся призыв к мщению, – озлобленный, беспощадный. Но к чувству негодования примешивалось недоверие к королю. Ведь он делал очень странные вещи в Шотландии (в это время он был там); отчего бы ему не делать того же и в Ирландии? Возможно ли отдать в его распоряжение армию для подавления ирландского восстания? Разве нет тысячи оснований предположить, что он прежде всего употребит ее на сокрушение английского парламента? Конечно, в этих предположениях было много преувеличенного, но им верили, и, к сожалению, имели полное основание верить.

Как бы то ни было, но парламенту пришлось объясниться. Он должен был открыть нации причины, почему устраняет Карла от его законного места во главе армии. Вследствие этого появилась так называемая “генеральная ремонстрация” – Grande Remonstrance. Это было подробное изложение действий Карла с самого начала его царствования. 14 декабря оно было напечатано и прочитано Карлу. Он выслушал его, презрительно усмехаясь.

До сей поры, как видел читатель, король играл чисто пассивную роль. Он отдал Страффорда как искупительную жертву в руки нижней палаты; он молчаливо переносил арест Лоуда и его тюремное заключение; он подписывал билли, почти не протестуя против них. Ожидание той минуты, когда сила опять окажется на его стороне и будет возможно презрительно отказаться от всех данных обещаний и обязательств как вынужденных, придавало ему бодрости. И он терпел. Теперь же, когда поездка в Шотландию убедила его, что там у него много сторонников, когда по возвращении в Лондон народ приветствовал его радостными криками, когда наконец ему удалось открыть фактические доказательства противозаконного образа действий предводителей оппозиции и уличить их в сношении с шотландцами, – он решился действовать. 3 января 1642 года он послал своего генерал-прокурора предъявить в верхней палате обвинение лидерам парламента, полагая, что с заточением главных деятелей в тюрьму всякая оппозиция сделается весьма трудною, если не совсем невозможною.

Ожидания его, однако, не оправдались. Получив от нижнего парламента уклончивый ответ на свое требование немедленно арестовать Пима, Гэмдена и других, король решился сделать это собственною властью на следующий же день. Но когда настало это следующее утро, королеве было довольно трудно заставить своего мужа исполнить принятое решение. “Полно колебаться, трус, – говорила она, – ступай сейчас и выведи этих негодяев за уши!” убежденный ею, король в сопровождении пятисот вооруженных стражей отправился в нижний парламент. Оставив свою свиту за дверьми залы, он быстро направился к президентскому креслу и оттуда объявил собранию, что пришел арестовать изменников. Карл обводил взорами присутствующих, но не находил ни одного из пятерых преступников. Тогда он подозвал к себе спикера Ленталя и спросил его, куда девались эти люди? Ленталь преклонил перед государем колена со всеми знаками наружного благоговения и сказал: “Простите, Ваше Величество, но здесь я не имею права ни видеть своими глазами, ни говорить своим языком, а обязан действовать так, как укажет мне палата”. “Хорошо, хорошо, – сказал Карл, – у меня глаза не хуже, чем у других”. Но после новых поисков он убедился, что пришел напрасно, и тогда обратился к собранию со следующими словами: “Я вижу, что мои птицы улетели; надеюсь, что вы доставите мне их, как только они вернутся, иначе я буду принужден найти их без вашего содействия”. И он вышел из залы, но на пути к дверям со всех сторон раздавались ему вслед крики: “Привилегии, привилегии!”...

Подобные неудачи хуже поражения. Попытка короля ворваться в парламент с вооруженною силою произвела на народ глубокое впечатление. Жители Сити, еще за несколько недель до того так восторженно встретившие Карла, теперь плотно сомкнулись возле представителей нации. Каждый способный носить оружие приготовился защищать права и привилегии парламента. 10 января король уступил и выехал из Уайтхолла с тем, чтобы уже не возвращаться туда до того злополучного дня, когда его привели туда арестованным. Он отправился в Оксфорд.

Некоторое время продолжались еще его препирательства с парламентом, наконец в августе 1642 года меч был обнажен.

Революция началась, хотя мало кто заметил ее. Так случается постоянно: никто в начале революции не может предсказать, чем она кончится и куда она пойдет. Для людей, собравшихся 5 мая 1789 года в Париже в качестве членов Национального собрания, предсказание о низвержении трона Бурбонов, о господстве Робеспьера и Наполеона I могло бы показаться не только невероятным, но и уродливым. С ужасом оттолкнули бы они от

себя мысль о казни Людовика XVI, тем более об установлении единой и нераздельной Французской республики. Революция со всеми ее последствиями была *для них* такою же неожиданностью, как гром и молния в ясный летний день. Среди разгара и стихийной борьбы страстей, честолюбий, героизма завтрашний день целиком, со всеми своими часами и минутами, находится в руках судьбы. Тут народ от начала до конца предоставлен своей удаче и счастью...

Но все же, как ни зависит от случайностей ход революции, в развитии ее принципов, особенно в истории новой Европы, можно видеть своего рода постепенность. Начинает буржуазия. Она провозглашает свои либеральные и конституционные принципы. Но страсти, возбужденные ею, слишком глубоки, чтобы помириться на либерализме и конституции. Это лишь первый акт. За ним неминуемо должны следовать второй и третий. Постепенно приходит в движение народная масса. Ей нечего делать ни с конституцией, ни с либерализмом. Ей мало дела до отвлеченных принципов, до политической свободы. Ведь дело буржуазии сравнительно легко. Она начинает революцию, уже одержавши социальную победу. Ее враг – феодализм, аристократические начала средневековой европейской жизни. Но они расшатаны уже с XIV века. Вся задача в том, чтобы свои социальные завоевания воплотить в политические формы. Буржуазия богата, умна, деятельна. Она хочет участия в правлении, она требует равноправия с маркизами и князьями. Она восстает против привилегий, созданных века тому назад, она борется с правнуками Готфрида Бульонского, полагающими, что освобожденный Иерусалим обеспечил за ними навсегда право презрительно смотреть на человечество. Во втором акте уже народ, масса, выступает против самой победоносной буржуазии. Третий акт заканчивается диктатурой, цезаризмом. Грустный, но неизбежный эпилог.

Английская революция была осложнена религиозным одушевлением. Из крайнего принципа, провозглашенного Лютером, что каждый может понимать св. Писание сообразно со своим разумом и уделенными на его долю дарами духа Святого, произошли десятки иногда даже враждебных друг другу течений. Широкий поток реформации разделился на массу меньших рек и ручьев. Все равно как Лютер враждовал с Цвингли, Карлштадтом, религиозными радикалами, требовал огня и меча против сектантов и проклинал Мюнцера, как Кальвин радостно смотрел на костер Сервета, так и в английской революции мы видим борьбу различных религиозных партий, из которых одна спокойно была готова отправить другую на костер.

В торжестве же этих партий наблюдается указанная выше последовательность от менее радикального к более, от политического – к социальному.

В сущности, в английской революции соединились сразу четыре:

1) революция пресвитерианская, антиепископальная, мечтавшая в политическом отношении о главенстве нижней палаты;

2) революция индепендентов, требовавшая уничтожения церкви вообще, а в политическом смысле – радикальная;

3) революция уравнителей-левеллеров, в сущности чисто анархическая, и наконец

4) революция Кромвеля.

Со всеми ними нам и придется ознакомиться.

* * *

Дело началось с революции пресвитерианской, либерально-конституционной, но несомненно монархической. Этот период характеризуется нерешительностью и даже лицемерием. Факт прост и ясен: парламент борется с королем. Но чего хочет парламент от короля, он и сам, в сущности, не знает. Он ищет гарантий, обеспечивающих верность Карла своему обещанию, но, по-видимому, нет таких гарантий, которые могли бы его удовлетворить: слишком уже глубоко его недоверие. Отказаться же от монархии совершенно он не хочет и не может. Он не смеет даже провозгласить принцип народовластия, который, однако, проводится им в жизнь очень настойчиво. Оттого-то парламент отправляет свои войска *против* короля *на его защиту!* Так, по крайней мере, он предписывает своим генералам.

Генералы слушаются; генералы сами не знают, что им делать. Побеждать? Но они боятся победы. Терпеть поражения? Но это обидно. В результате что-то нерешительное, лицемерное, бесконечно утомительное.

Первым парламентским генералом был Эссекс, человек сановитый, богатый и гордый. Искренний защитник парламентских привилегий, он, однако, далеко не был противником короля. Его даже печалило то обстоятельство, что ему приходится поднимать оружие против своего монарха. Воюя, он мечтал лишь о мире, не понимая даже, что плохо добиваться мира с оружием в руках. Кроме того, Маколей не находит в нем особенных воинских дарований. Но не в них, кажется, дело. Дело именно в этой нерешимости, в полной неспособности следовать

обстоятельствам.

Поэтому вначале дела парламентской армии шли из рук вон плохо. Роялисты были победителями, как в западных, так и в северных графствах. Они отняли у парламента Бристоль, второй город в королевстве. Они выиграли несколько сражений и не потерпели ни одного серьезного поражения. Между тем среди круглоголовых (сторонники парламента) неудача начала производить раздор и недовольство; между тем тянулась бесполезная война, напрасно разорявшая государство; между тем народ по деревням и селам, с которого парламент брал подати “для защиты короля”, а король “для собственной своей защиты”, громко выражал неудовольствие.

Пресвитериане продолжали обсуждать гарантии.

Так шли месяцы. Постоянные неудачи даже вызвали опасение, что король может захватить Лондон. Он и захватил бы его, будь в нем более мужества и решительности. Но счастливый момент был упущен им, а в другой раз не повторился. И не повторился потому, что, сначала незаметная, уже начиналась индепендентская революция.

Она выросла на глазах у парламента, но парламент не замечал ее, хотя ее глава и вдохновитель находился среди ее членов.

Как всем известно, этим главою и вдохновителем был Оливер Кромвель.

* * *

Теперь уже мы можем исключительно заняться им и его “хорошими, – как он называл, – людьми”. Дальнейшая история Англии так тесно слита с его биографией, что лишь искусственная вивисекция может разделить их.

В это время (1643 год) ему было уже сорок четыре года. Он был счастливый отец семейства, уважаемый гражданин своей страны – словом, заработал уже, по-видимому, право на тихую и безболезненную кончину. Но, удивительное дело, только на сорок пятом году своей жизни он является перед нами во весь рост. Из каких-то непостижимых и сокровенных источников в нем вдруг проявился гений полководца, хотя раньше он, вероятно, не обнажал даже меча, и так же неожиданно гений государственного человека. Вместо скромной деятельности мирового судьи и защитника общинных привилегий приходится описывать теперь завоевания целых стран и создания государств, приходится говорить о беспощадной энергии, поразительной прозорливости,

хотя раньше даже опытный взгляд не мог бы различить ничего подобного. Мы оставили его человеком убежденным и верующим; теперь же перед нами “мощная сила, полная разносторонних, самобытных влечений, – то медлительно стойкая, консервативная, то пылкая, изменчивая, разрушительная, – сила, перед которой все, противодействовавшее ей, должно было склоняться или гибнуть” (слова Ранке).

Кромвель, очевидно, очутился в своей сфере. Мы сейчас увидим, что он делает; пока же вот его портрет, относящийся приблизительно к этому времени:

> “Однажды утром, – рассказывает нам утонченный джентльмен сэр Филипп Варвик, член палаты общин, – я пришел отлично одетый на заседание и увидел, что здесь говорит один господин, одетый в очень обыкновенное платье. По-видимому, оно было сделано дурным деревенским портным. Его белье было грубо и не очень чисто. Мне даже помнится, что я заметил несколько кровяных пятен на галстуке, который был немного больше воротничка. На шляпе у него не было ленты. Но он был человек видный, и шляпа плотно прилегала к его боку. С здоровым, красным, деревенским лицом, он говорил резким, немелодическим голосом, но с большим жаром... Я сознаюсь, что мое уважение к великому собранию несколько поколебалось, когда я увидел, как внимательно слушает оно этого господина. Это был Оливер Кромвель”.

Втянувшись в войну с королем и на первых же порах заняв место полковника парламентской армии, Кромвель проявил необычайную энергию. “С жаром” говорил он в парламенте; с еще большим жаром принялся он за величайшее дело своей жизни – устройство сначала своего кавалерийского эскадрона, потом всей армии.

С первых же шагов было очевидно, что он знает, куда идет. В нем не заметно ни малейшей нерешительности, ни малейших колебаний. Он твердо держится своей формулы, а эта формула очень проста: *или* война, *или* мир, только не передвижение войск взад и вперед, только не разрушение государства. Но чтобы воевать, нужна армия. Пока ее не было, вернее был какой-то сброд, разделенный, к малой для себя пользе, на эскадроны и полки.

> “В начале войны, – читаем мы у Маколея, – король имел одно преимущество, которое, воспользуйся он им

как следует, с избытком бы вознаградило его за недостаток припасов и денег и которое, несмотря на его дурные распоряжения, давало ему в течение нескольких месяцев безусловный перевес. Первое время его войска сражались гораздо лучше парламентских. Обе армии, правда, почти вполне состояли из людей, никогда не видавших поля сражения. Тем не менее разница была велика. Ряды парламентской армиибыли пополнены наемниками, которых завербоваться побуждали нужда и праздность. Полк Гэмдена считался одним из лучших, но даже и он, по отзыву Кромвеля, был просто сборищем половых и лакеев без мест".

Из этого сборища предстояло создать такую же непобедимую армию, как та, что шла под знаменами Густава-Адольфа, и каждый солдат должен был превратиться в рыцаря. Это – величайшее и труднейшее дело всей жизни Кромвеля. Его будущее было обеспечено, раз в этом первом испытании он, как говорится, оказался на высоте задачи. А затруднений было сколько угодно. Сам он и его люди должны были изучить кавалерийскую службу от самых простых приемов до боевых построений, причем учителями были старые голландские солдаты. Немногие строгие статьи военного устава, на которых основывалась успешная организация, были вызваны самою необходимостью. Ничей взгляд не умел так верно выбирать офицеров и солдат, как взгляд Кромвеля. Он сам сказал однажды:

– Выбирайте в офицеры людей богобоязненных и честных, тогда к ним будут поступать тоже честные люди и будут прилежно учиться у них военному ремеслу.

На происхождение он не обращал ни малейшего внимания:

– Я бы лучше желал иметь простого капитана в грубой фланелевой куртке, который знает, *за что* он сражается, и всею душой предан делу, чем такого, которого вы называете джентльменом.

Не происхождение было нужно ему, а вера, убежденность.

Пуритане и сектанты, пошедшие еще дальше первых в религиозном радикализме, – вот среди кого Кромвель выбирал своих солдат. И раньше его пуритане и сектанты наполняли собою парламентскую армию, но они были затеряны среди грязи и распутства наемного войска. У них не было знамени, вокруг которого они могли бы собраться, чтобы представить из себя организованную, то есть возвышенную в степень силу. Окруженные Бог весть кем, случайными людьми и подонками общества, элементы будущей грозной армии пропадали

бесследно в многочисленных стычках, портились и ржавели в непригодной и скверной для них атмосфере. Еще немного – и кто знает, быть может они растратились бы совершенно по-пустому, и никогда бы пуританизму не пришлось играть никакой выдающейся роли в истории. Но явился Кромвель – великий человек, а *значит* и великий организатор. Кромвель ввел общую молитву и, кроме спасения души, выставил другую, не меньшую цель – спасение дела. Прежде всего он заботился о создании центра. Вначале он действовал безжалостно, удалял из своего полка каждого, кто хоть чем-нибудь не соответствовал задуманному плану, прибегал к механическим мерам вроде штрафов за клятвы и пр., “но все же с первой минуты понял он, что объединить и сплотить людей можно, лишь подчинив их поступки высшей цели. Почва для этого была как нельзя более подходящей; пуритане и раньше отличались большой религиозностью; надо было экзальтировать ее, указать ближайшее практическое приложение, а также вселить уверенность в успех дорогого дела”. Все это сделал Кромвель, и сделал один он. Организовав свой полк, он сумел заставить других бояться и уважать его. Уже с самого начала мы встречаем частые похвалы его солдатам за трезвость и благочестие. Но особенно ценно было то, что среди сотен людей нельзя было найти ни одного грабителя. Кромвель безжалостно расстреливал каждого, попавшегося хоть в чем-нибудь подобном. Сам он, несмотря на свою требовательность, был очень доволен поведением полка. В письме от 11 сентября 1643 года он говорит между прочим: “У меня великолепный эскадрон, узнав моих солдат, вы наверное оценили бы их. Это не анабаптисты, это трезвые и честные христиане. Но *они ожидают, что с ними будут обращаться как с людьми”*.

Дух кромвелевского полка распространился мало-помалу на всю армию. “Кавалерам пришлось иметь теперь дело с природной храбростью, равною их собственной, с энтузиазмом сильнее их собственного и с дисциплиной, какой им совершенно недоставало. Скоро сделалось поговоркой, что солдаты Ферфакса и Кромвеля были людьми иной породы, нежели солдаты Эссекса. При Несби (1645 год) произошла первая великая сшибка между роялистами и преобразованной армией палаты. Победа круглоголовых была полная и решительная. За нею быстрой чередой последовали и другие триумфы. В несколько месяцев авторитет парламента был совершенно утвержден в целом королевстве”. Сама же армия весьма отличалась от всех армий, какие с тех пор существовали. В настоящее время в Англии жалованье простого солдата не таково, чтобы могло побудить

кого-нибудь, кроме низшего класса английских работников, отказаться от своего промысла. Тогда дело обстояло иначе. Армия Кромвеля была набрана внутри государства. Жалованье простого солдата значительно превышало заработки массы народа; и каждый рядовой, если он отличался умом и храбростью, мог надеяться достигнуть высших должностей. Вследствие этого ряды армии мало-помалу наполнялись лицами, по положению и воспитанию стоявшими выше толпы. Эти лица, выдержанные, нравственные, прилежные и привыкшие к размышлению, были побуждены взяться за оружие не гнетом нужды, не любовью к новизне и своевольству, не хитростью вербующих офицеров, а религиозной и политической ревностью, смешанною с желанием отличия и повышения. Гордость этих солдат, как значится в их торжественных резолюциях, заключалась в том, что они не были приноровлены к службе и вступали в армию не ради корысти; что они были не янычары, а англичане, добровольно подвергавшие свою жизнь опасности за вольности и религию нации. Армия, таким образом составленная, могла без вреда для самой себя пользоваться свободой, которая, будучи предоставлена иным войскам, подействовала бы разрушительно на всю дисциплину. Несомненно, что солдаты, формирующие политические клубы, выбирающие депутатов, принимающие решения по важным государственным вопросам, в другом месте и при других обстоятельствах перестали бы составлять армию и, освободившись от всякого контроля, сделались бы наихудшим и самым опасным из сборищ. И небезопасно было бы в наши дни терпеть в каком-нибудь полку религиозные сходки, на которых капрал, сведущий в писании, частенько назидал менее даровитого полковника и увещевал вероотступного майора. Но таковы были разум, серьезность и самообладание воинов, дисциплинированных Кромвелем, что в их лагере политическая и религиозная организации могли существовать, не разрушая организации военной. Те самые люди, которые вне службы были известны как фанатики и полевые проповедники, отличались стойкостью, духом порядка и беспрекословным повиновением на страже, на учениях и на поле битвы. В войне эта странная армия была неодолима. Упорная храбрость, характеризующая английский народ, посредством системы Кромвеля разом и регулировалась, и возбуждалась. Другие вожди поддерживали такой же строгий порядок. Другие вожди одушевляли своих соратников такою же горячею ревностью. Но в одном лишь его лагере строжайшая дисциплина встречалась рядом с самым необузданным энтузиазмом. Его войска ходили в бой с точностью машин, пылая в то же время фанатизмом первых крестоносцев. Со

времени образования армии до минуты ее роспуска она ни на Британских островах, ни на материке не встречала никогда врага, который мог бы устоять против ее натиска. В Англии, Шотландии, Ирландии, Фландрии пуританские воины, часто окруженные затруднениями, иногда боровшиеся против неприятеля, втрое сильнейшего, не только всегда успевали побеждать, но всегда разбивали в прах и уничтожали всякую противодействовавшую им силу. Наконец они дошли до того, что стали считать день битвы днем верного торжества и ходили против самых прославленных батальонов Европы с презрительною уверенностью. Тюренн был потрясен взрывом сурового ликования, с каким его английские союзники шли в бой, и выразил восторг истинного солдата, узнавши, что копейщики[9] Кромвеля имели обыкновение всегда ликовать при встрече с неприятелем. Даже изгнанные кавалеры прониклись чувством национальной гордости, увидевши, как бригада их соотечественников, окруженная врагами и покинутая союзниками, гнала перед собою бежавшую стремглав лучшую пехоту Испании и пробилась в контрэскарп, только что перед тем объявленный неприступным искуснейшими маршалами Франции. Но главное отличие армии Кромвеля от прочих армий состояло в строгой нравственности и страхе Божием, которыми были проникнуты все ранги. Самые ревностные роялисты сознаются, что в этом странном лагере не слышно было клятв, не видно было ни пьянства, ни ссор и что в течение долгого господства армии собственность мирного гражданина и честь женщины считались священными. Если и наносились оскорбления, то оскорбления эти были совершенно иного рода, чем те, в каких обыкновенно бывает повинна победоносная армия. Ни одна служанка не могла пожаловаться на грубое волокитство краснокафтанников. Ни одна унция драгоценного металла не была похищена из лавок золотых дел мастеров, но итальянская проповедь или окно с изображением святого возбуждали в пуританских рядах ярость, для укрощения которой требовались крайние усилия офицеров. Одною из главных трудностей для Кромвеля было удерживать мушкетеров и драгунов от насильственных нападений на кафедры священнослужителей, речи которых приходились не по сердцу солдатам, и слишком многие из английских соборов до сих пор носят следы ненависти, с какою эти суровые умы относились ко всякому знаку папизма.

Забегая вперед, посмотрим на последнюю встречу истории с солдатами Кромвеля, которых мы только что видели “сурово ликующими” на поле битвы.

> “Войска подлежали теперь роспуску (1661 год). Пятьдесят тысяч человек, привыкших к военному ремеслу, были разом пущены по миру, и опыт, казалось, должен был оправдать мнение, что эта перемена произведет много бедствий и преступлений, что уволенные ветераны явятся нищенствующими на каждой улице или что они будут доведены голодом до грабежа. Но ничего подобного не последовало. Через несколько месяцев не оставалось и признака, что *самая грозная в мире армия потонула в массе общества.* Сами роялисты признавались, что во всех отраслях честного труда отставные воины преуспевали более других, что ни один из них не был обвинен в краже или разбое, что ни один из них не был замечен в нищенстве и *что если какой-нибудь хлебник, каменщик или извозчик обращал на себя внимание трудолюбием и честностью, то он по всей вероятности был одним из старых воинов Кромвеля”.*

То *люди* были, не наемники! – такова мораль этих блестящих страниц Маколея. И что Кромвель умел будить в человеке человеческое, в этом его величие. Но кроме этого солдаты “грозной армии” были сектанты. Во что же веровали, к чему стремились они в религии и политике? Ведь второй фазис революции – революция индепендентов – принадлежит им. А для нас она тем более интересна, что прямым ее вдохновителем был Кромвель.

Начнем с религии. Мы уже видели, что развитие религиозной мысли шло в сторону абсолютного индивидуализма. Католическая церковь требовала от личности безусловного отречения от своего “я”, своего права мыслить и рассуждать и полного подчинения этой личности авторитету духовенства. Она отрицала и национальность. “Все дети одного Бога, все слуги одного папы”. Англиканская же церковь признавала за человеком его принадлежность к известному народу. Если *отдельный* человек не мог веровать по-своему, то *вся нация* могла веровать, как считала лучшим. По устройству англиканская церковь со своими епископами, стремлением отделить клир от мирян была аристократическая. Пресвитерианство – церковная демократия, желавшая подчинить народную церковь республиканскому устройству. Епископов не было, все заправлялось синодами, где заседали священники и миряне. Но эволюция не остановилась на этом. С самого начала пресвитерианского господства (1642 год) индепенденты, браунисты, анабаптисты уже во всеуслышание предлагали вопрос: “Должна ли существовать национальная

церковь, и на каком основании церковная власть – какая бы она ни была, папская, епископская, пресвитерианская – присваивает себе право подводить человеческую совесть под иго единства в делах веры? Всякое собрание верующих, – говорили они, – живущих в одном месте или по соседству и соединяющихся добровольно в силу своей общей веры *(какая бы она ни была)* для общего богослужения, – есть истинная церковь, над которой никакая другая церковь не имеет права властвовать, и эта церковь может сама избирать своих священнослужителей, устанавливать правила своего богослужения и наконец управляться собственными своими законами". Сделайте еще один шаг дальше. В предыдущих строках все же идет речь об избрании священнослужителей. Нельзя ли обойтись и без него? Раз каждый верует по-своему, то к чему ему какой бы то ни было священнослужитель? Здесь принцип свободы совести развился до крайних своих пределов. "Священное писание", "я" – вот единственные руководители *всей* жизни.

Я говорю *всей* и сейчас объясню, что это слово значит. Сектанты не отделяли политики от религии, как это делали пресвитериане. Они спрашивали себя: раз королевская власть и аристократия отвергнуты в церкви, зачем же сохранять их в государстве? Политические реформаторы намекнули, что если король и лорды будут настоятельно отказывать в своем согласии, то воля нижней палаты все-таки должна быть принята за закон: почему же не сказать этого прямо? Зачем обращаться к верховной власти народа только в исключительных случаях и единственно для того, чтобы придавать законность сопротивлению, тогда как на этой власти всегда и все должно основываться? Свергнув иго римского и епископального духовенства, не смешно ли подчинить ее игу духовенства пресвитерианского, его старшинам и синодам?.. Не одинаково ли смешно бояться слова "республика", когда она уже существует на деле? Народовластие должно признаваться не только чем-то полезным в исключительных обстоятельствах, а лечь в основу политической жизни всего английского народа.

Итак: абсолютная свобода совести в делах религии, народовластие в делах политики – таковы принципы индепендентов.

Нельзя ли остановиться хотя бы на этом? Всякий авторитет разрушен в области веры, в области жизни остался один авторитет большинства. Но с первой же минуты появления индепендентов на сцене мы видим, что за ними обнаруживается еще низший революционный слой. Это оттого, между прочим, что индепенденты были не совсем последовательны. Из их же

посылки, что религиозная и политическая жизнь народов должна основываться на принципах свободы совести и народовластия, делались выводы гораздо более решительные. Пока я лишь упомяну о них для полноты картины.

Каждый верующий, рассуждали индепенденты, не есть ли уже сам по себе священник для самого себя, для своего семейства, для всех христиан, которые, будучи увлечены его речью, признают его вдохновенным свыше и захотят присоединиться к его молитвам?

Религия свелась к убеждениям, мысли, вдохновению и экстазу отдельного человека. Богач и бедняк, гений и юродивый одинаково могли стать во главе религиозной общины. *“Я* и *мой* Бог”, – говорил каждый, устраняя всех посредников. Но нельзя не применить того же принципа и к политической жизни. Народовластие… авторитет большинства… какое основание имеют они? Ведь области политики и религии нераздельны, в таком случае не может ли “я” лечь в основание и политической жизни? Да, может, отвечали левеллеры, и республика оказалась для них такой же непригодной, такой же ненавистной, как монархия, аристократия и демократия.

Мы их встретим еще после. Мы увидим ниже, как политическое движение было осложнено социальным. Пока же оставим левеллеров в покое. Они сами дают нам на это полное право. В описываемый нами период (1644 – 1649 годы) они не выступали на сцену и группировались под знаменами индепендентов, “сосредоточивших постепенно в своем лагере все самые смелые и решительные силы государства. К ним присоединились юристы, в надежде отнять у своих соперников – духовных – всю судебную власть и все господство; народные публицисты ожидали от них нового законодательства, ясного, простого, которое бы лишило юрисконсультов их огромных доходов и силы. Гаррингтон, присоединяясь к этой партии, мог мечтать о республике мудрецов; Сидней – о свободе Спарты и Рима; Лильборн – о восстановлении древних саксонских законов; Гаррисон – о пришествии Христа; даже самый цинизм Генри Мартина и Петра Уэнтворта был в ней терпим из уважения к смелости. Республиканцы и уравнители, мыслители и мечтатели, фанатики и честолюбцы – все были допускаемы, каждый мог приносить сюда свое негодование, свое вдохновение, свои интриги. Достаточно было, чтобы все, одушевленные равною ненавистью к кавалерам и пресвитерианам, стремились с равною горячностью к этому неизвестному будущему, которое обещало удовлетворить стольким желаниям.

На стороне индепендентов был Кромвель.

Только вот что надо заметить.

Принцип свободы совести нисколько не мешал индепендентам ожесточаться и приходить в бешенство при виде образа или статуи святого. Они никак не могли допустить, что католики – люди, и ничуть не метафорически называли папу антихристом. Их терпимость как терпимость человеческая всегда ограничивалась формулой: “Кто не за меня, тот против меня, а кто против меня, того надо уничтожить”. Что может быть естественнее, если они были фанатиками и доктринерами? Ведь ничто не помешало ввести им в Новом Свете инквизицию. А если они не ввели инквизиции в Англии, то помешал им в этом Кромвель.

Как фанатики индепенденты представляли из себя грозную боевую силу. Как фанатики они не шли да и не могли идти ни на какие компромиссы. Ведь мы знаем, что источником их веры было учение Кальвина; мы знаем также, что идея предопределения, учение об избранных и отверженных были основной *догмой* кальвинизма. И индепенденты искренне веровали, что Бог избрал их. Эта вера давала им непреоборимую силу, эта вера позволяла им с презрением и ненавистью смотреть на остальное человечество. Они считали себя “чистыми”, “святыми”. Они представляли себе мир и людей погрязшими в грехах. Сокрушаясь о себе, о преступлении праотца Адама, проводя время в слезах и молитвах, они наэлектризовали себя до степени слепоты. “Вне нас – нет правды. Вне нас – все ложь, все грех, все преступление”.

Постоянная мысль о первородном грехе мучила и убивала их. Так твердо, так неуклонно, так постоянно веровали они в него, что вся жизнь представлялась им подлежащею очищению огнем и мечом. Они не выносили образа; театральное представление вызывало их негодование; смех и веселость – их ненависть. Как Кальвин, готовы они были требовать смерти даже для ребенка, раз, по их мнению, в этом ребенке говорил “дьявол”, то есть дух непослушания, веселости, легкомыслия. Грех и дьявол – вот что преследовало их. Как Лютер, готовы они были бросать в него своею чернильницею. Как один из протестантских богословов, насчитывали они чертей до 2 222 222 222 222 особей. Эти темные духи постоянно кружились над человеком, проникали во все поры и искушали его. Во что же обращалась жизнь? В постоянную борьбу с искушениями, в постоянное раскаяние, в плач, зубовный скрежет и сокрушение. “Они всегда ходили с постными лицами”.

Взятое в общем, миросозерцание индепендентов было мрачно и уродливо. Исходя из свободы совести, они, благодаря фанатизму и доктринерству, неминуемо дошли бы до инквизиции. Повторяю, в Новом Свете в *свободных* пуританских общинах они учредили таковую, и надо согласиться, что эта

инквизиция была ничуть не лучше испанской: сжигание ведьм, колдунов и еретиков практиковалось нельзя сказать чтобы редко.

Но среди индепендентов были люди, оставшиеся до конца верными их основным традициям, – люди, не ослепленные ни доктриной, ни догмой, ни безудержным фанатизмом. Довольно назвать имена Лильборна, Вена, Мильтона, Кромвеля.

Только благодаря последнему Англия не увидела индепендентской инквизиции. В этом удивительном человеке страстность натуры соединялась с завидной трезвостью ума, искренняя вера в своего Бога, в свое высшее призвание – с полной веротерпимостью. Неиссякаемый запас практического здравого смысла всегда позволял ему отличать возможное от невозможного, осуществимое от иллюзии. Индепендент по принципам, он никогда не был сектантом, и сам он не шел на других, не посылал на костер.

Прислушиваясь к страстным речам Кромвеля, видя, как обливается он слезами, как бьет себя в грудь, какой исступленной ненавистью звучат его слова, с какой безусловной настойчивостью проводит он в жизнь свои стремления, люди считали его или фанатиком, или величайшим из лицемеров. Ни то, ни другое несправедливо. Кромвель – прежде всего человек дела. Это не теоретик, не художник и не мыслитель. Факт значил для него слишком много, и он всегда считался с ним. В каком бы вдохновенном экстазе он ни находился, он никогда не забывал, что, кроме экстаза, личных надежд и стремлений, существует целая громадная жизнь, подходить к которой со своим “да будет” не всегда возможно.

* * *

Мы видели, что Кромвель вступил в борьбу с кавалерами, имея на этот счет вполне определенные и ясные воззрения. Постоянно повторявшимся попыткам пресвитериан найти пункты соглашения с королем и добиться ненарушимых гарантий он не придавал значения. Он понимал, что Карл, не отказавшись от самого себя, не мог согласиться на предложения парламента, а парламент, в свою очередь, не согласился бы свести на нет всю свою революционную деятельность. Итак, надо было воевать, но воевать на жизнь, и на смерть, а не по программе Эссекса, делавшего два шага вперед и столько же назад из страха перед решительным концом. Ведь это затягивание войны ровно ни к чему не вело, к тому разве, что крики лондонского населения о мире становились с каждым днем все решительнее, а страна

разорялась и приходила в упадок. Я уже говорил, что масса народа собственно в этой борьбе короля с парламентом не принимала никакого участия. Она выделила в революционный лагерь все, что в ней было способного, честолюбивого, а сама оставалась сначала равнодушной, а потом заняла прямо враждебное положение по отношению к воюющим сторонам. Что хорошего они дадут ей – она не знала, а пока видела одни грабежи, двойные подати "во имя короля", "для защиты короля". Она решила защищаться, и в каждой деревне, в каждом округе и графстве появились клобмены, то есть отряды поселян, одинаково не пускавших к себе ни кавалеров, ни круглоголовых.

Это показывало, что нерешительная политика к добру не ведет. Но начинать решительную политику, пока во главе войска стояли пресвитерианские генералы, не было никакой возможности. Кромвель задумал отделаться от них.

2 июля 1644 года вечером произошла кровопролитная и имевшая громадное значение битва между парламентскими и королевскими войсками при Морстон-Муре. Круглоголовые победили. Главными виновниками этой победы были Кромвель и его эскадроны. Естественно, что индепенденты возликовали: это был первый несомненный успех. Опираясь на него, они стали энергичнее и откровеннее высказывать свои затаенные замыслы и взгляды.

"Милорд, – говорил, между прочим, Кромвель Манчестеру, генерал-лейтенанту парламентских войск, – станьте решительнее на нашу сторону. Не говорите, что надо быть умеренным ради достижения мира, что надо щадить палату лордов, бояться отказов парламента: какое нам дело до мира и до лордов? Дела до тех пор не будут идти как следует, *пока вас не будут звать мистер Монтэгю.* Если вы сблизитесь с честными людьми, то скоро станете во главе армии, которая будет предписывать законы".

Но Манчестер и Эссекс оставались глухи и немы. Нерешительная война продолжалась. В неудачах не было недостатка. Тогда Кромвель решился излить свой гнев и свою злобу в самой нижней палате. "Во всем, – сказал он, – виноват граф Манчестер: со времени победы при Морстон-Муре он боится побеждать, боится последнего и решительного успеха; ныне с появлением короля при Ньюбери не было ничего легче, как уничтожить его армию. Я ходил к генералу, показывал, как это можно было сделать, и просил позволения пойти в атаку с одной моей бригадой. Другие офицеры настаивали вместе со мной на том же: он решительно отказался".

Манчестер отвечал на это обвинением Кромвеля в

несоблюдении дисциплины, во лжи, даже в измене и коварстве, ибо в день битвы, говорил он, ни Кромвель, ни полк его не явились к назначенному им посту. Кромвель даже не счел нужным оправдываться и возобновил свои обвинения с еще большей силой.

Армия между тем понемногу наполнялась индепендентами и проникалась их духом. Также и в парламенте они стали играть заметную роль. Тогда Кромвель 13 сентября 1644 года открыто перед лицом палаты объявил себя покровителем свободы совести и даже добился того, что палаты назначили комитет для отыскания средств на удовлетворение “законных требований диссидентов”.

Наконец настал день решительной парламентской битвы. 9 декабря собрались члены нижней палаты для обсуждения мер к облегчению страданий государства. Никто не требовал слова. Казалось, все ждали чего-то решительного, но никто не хотел принять на себя ответственность за это. После долгого молчания поднялся Кромвель и сказал: “Теперь настало время говорить или замолчать навсегда. Дело идет ни более ни менее, как о спасении народа, почти умирающего под гнетом того жалкого положения, до которого довела его продолжительная война. Если мы не будем вести войну с большей быстротой и энергией, если будем действовать как наемники, которые хлопочут лишь о том, чтобы затянуть войну, то будем в тягость государству и заставим его ненавидеть имя парламента. Что говорят наши враги? Скажу больше: что говорят многие из тех, которые три-четыре года тому назад были нашими друзьями? Они говорят, что члены обеих палат захватили высшие должности военные и гражданские, что у них в руках меч, что с помощью своего влияния в парламенте и армии они хотят упрочить за собой власть навсегда и не допустят прекращения войны из опасения, чтобы вместе с нею не прекратилась и власть их... Скажу вам, что *если управление армией не изменится,* если война не поведется с большей энергией, народ не вынесет *ее* и заставит нас заключить постыдный мир... Постараемся же отыскать лекарство. Надеюсь, что каждый из нас настолько англичанин в душе, что, не колеблясь, решится принести личные свои выгоды в жертву общему благу и не оскорбится никаким решением парламента”.

Тогда один из неизвестных ничем более индепендентов предложил, “чтобы ни один член обеих палат в продолжение этой войны не мог исполнять никакой должности, не мог быть облечен никакою гражданскою и военною властью и чтобы сделано было парламентское предложение в этом смысле”. И оно было сделано 3 апреля 1645 года. Пресвитерианские генералы должны были

оставить свои места. Победа Кромвеля[10] оказалась полной. С этой поры фактически и армия перешла в его руки, хотя главнокомандующим официально числился Ферфакс.

* * *

14 июня 1646 года на равнине Несби произошла самая кровопролитная и решительная битва всей войны. Разбитый наголову, Карл с двумя тысячами всадников бросился бежать по направлению к Лейчестру, оставив в руках парламента артиллерию, военные припасы, более ста знамен, свое собственное знамя, пять тысяч пленных и все свои кабинетные бумаги. Победа превзошла самые смелые ожидания. Кромвель подробно писал о ней палате и закончил свое письмо словами: “Во всем этом виден перст Божий, ему одному нераздельно принадлежит победа. Генерал (Ферфакс) служил нам верно и честно. Все относит он к воле Божией и скорее умрет, чем припишет что-нибудь лично себе – вот высшая похвала, какую я могу воздать ему. Но что касается храбрости, то он проявил ее во всем блеске и объеме, возможном для человека. Добрые люди (индепенденты) служили вам верно. Они исполнены надежды. Богом умоляю вас не ронять их дух. Желаю, чтобы эта битва породила смирение и благодарность в сердце всех, кто принимал в ней хоть какое-нибудь участие. Желаю, чтобы тот, кто жертвует своей жизнью для спасения родины, мог положиться на Бога относительно свободы своей совести, а на вас – относительно той свободы, во имя которой он сражается”.

Между тем доставшиеся индепендентам бумаги короля были вскрыты и прочитаны громко при громадном стечении народа. Они произвели страшное впечатление. Было очевидно, что король никогда не хотел мира; что ни одна уступка не была в его глазах решительною, ни одно обещание обязательным; что, в сущности, он рассчитывал на одну силу и никогда не оставлял притязаний на произвол; наконец, что, несмотря на все свои торжественные, тысячи раз повторенные, уверения, он обращался к королю французскому, герцогу Лотарингскому, ко всем государям Европы с призывом не задумываясь ввести в королевство их солдат. Само название “парламент”, которое он дал палатам во время последних (101-х по счету, если не ошибаемся) переговоров, было с его стороны чистым обманом, потому что, давши его, он секретно протестовал против этого и приказал занести свой протест в протокол государственного совета в Оксфорде.

Поборники мира должны были замолчать.

Несмотря на отчаянное поражение при Несби, Карл, однако, не сдавался и в предсмертной борьбе совершил последние героические усилия. Но судьба была против него. Принц Роберт, его племянник, постыдно сдал Бристоль, Монтроз был разбит в Шотландии, европейские государи молчали, переговоры с ирландцами были открыты, попытка вступить в сношение с парламентом окончилась полной и оскорбительной неудачей. Тогда, разбитый на всех рубежах, отовсюду гонимый, утомленный неудачами и махнувший рукой на все, Карл 5 мая 1646 года добровольно явился в лагерь шотландцев. При виде короля граф Ливн и его офицеры притворились крайне удивленными. Тотчас дано было знать о его прибытии комиссарам парламента. Курьеры поскакали с такой же вестью в Эдинбург и Лондон. Хотя офицеры и солдаты оказывали королю глубокое уважение, однако вечером, под предлогом подобающего ему почетного караула, сильная стража была приставлена к дверям королевских покоев. Желая испытать свое положение, Карл попробовал назначить лозунг.

Извините, государь, – сказал Ливн, – я здесь старший солдат, и потому, Ваше Величество, позвольте мне взять эту обязанность на себя.

* * *

Дальнейшие события следуют друг за другом с головокружительной быстротой вплоть до той минуты, когда Оливер Кромвель был назначен наконец лордом-протектором Англии, Шотландии и Ирландии. Этим событиям я могу уделить лишь очень немного места, надеюсь, однако, не ко вреду своего очерка. Как ни интересны они, в них нет ничего такого, что бы выходило за пределы установленных раньше общих положений. Все дело сводится к спору между парламентом и армией, пресвитерианами и индепендентами. Пресвитериане ищут компромисса с королем; индепенденты закладывают понемногу основы народовластия. Их программа расширяется. Мильтон (родился в 1602 году), еще молодой, но уже замеченный благодаря своим познаниям, требовал в выражениях, дотоле неслыханных по своему благородству, свободы совести, книгопечатания, права развода. Пресвитерианское духовенство, возмущенное его смелостью, без успеха доносило на него палатам, ставя в грех терпимость к подобного рода сочинениям. Но эта терпимость была, конечно, вынужденная. Другой человек, Джон Лильборн, уже известный восторженным сопротивлением

произволу, начинал неутомимую борьбу против лордов, судей, юрисконсультов, – борьбу, в которой он приобрел эпитет беспокойного и погиб. Число индепендентских общин вырастало с каждым днем. В то же самое время видимо росло значение вождей партии, особенно Кромвеля. Приезжали ли они из армии в Вестминстер, палаты принимали их с торжественными почестями; отправлялись ли они в армию, парламент выражал им свою признательность денежными подарками или поместьями, а также раздачей наград и мест их клевретам и тем самым подтверждал и увеличивал их влияние. Словом, в Лондоне, равно как и в графствах, в делах политических и религиозных – шла ли речь о материальных выгодах или о торжестве идей, – везде общественное движение более и более высказывалось в пользу индепендентов. И среди таких-то успехов в то время, когда эта партия готовилась уже забрать в руки всю власть, ей начала грозить опасность потерять все, ибо действительно она теряла все, если бы король и пресвитериане соединились против нее.

Король был в плену. За четыре млн. рублей шотландцы продали его парламенту. Армия увезла, украла короля. Поднимался страшный вопрос: что с ним делать?

Фактическая власть находилась в это время в руках войска. С парламентом у него происходили постоянные раздоры из-за жалованья, из-за власти, из-за Карла. Парламенту очень хотелось распустить армию, чтоб остаться “единым и нераздельным”, но, к сожалению, *армии* совсем этого не хотелось. А между тем, несмотря на всю ее силу, положение ее было очень затруднительно. Держать английский народ в узде было задачей нелегкой. Лишь только он почувствовал первое давление тирании, он тотчас же стал противоборствовать. Гроза разразилась. В Шотландии образовалась коалиция между роялистами и огромным числом пресвитериан, которые с ненавистью смотрели на учение индепендентов. В Норфолке, Суффолке, Эссексе, Кенте, Валлисе произошли восстания. Флот на Темзе внезапно поднял королевские флаги, вышел в море и стал грозить южному берегу. Большая шотландская армия перешла границу и вступила в Ланкашир. Можно было основательно подозревать, что большинство, как лордов, так и общин, смотрело на эти движения с тайной радостью. Но иго армии нельзя было таким образом свергнуть. Пока Ферфакс подавлял восстание в окрестностях столицы, Кромвель разбил валлийских инсургентов и, превратив их дома в развалины, пошел на шотландцев. Несмотря на численное превосходство, шотландская армия была совершенно уничтожена, и Кромвель, более чем когда-либо любимец солдат, с торжеством вернулся в

Лондон.

“Армия почувствовала всеобщее враждебное отношение к себе. Гордость, могучее сознание своей непобедимой силы не позволили ей отступить. И вот намерение, на которое в начале войны никто не осмелился намекнуть, стало принимать определенную форму. Суровые воины, управлявшие нацией уже несколько месяцев, помышляли о страшной мести пленному королю. Как и когда возник этот помысел, перешел ли он от генерала к рядовым или от рядовых к генералу, надлежит ли приписать его политике, употребившей фанатизм орудием, или фанатизму, осилившему политику неудержимым стремлением? – это такие вопросы, на которые и теперь нельзя отвечать с уверенностью. Но вероятно, что Кромвель, представлявшийся всем коноводом, в действительности сам принужден был следовать за другими и что в этом он пожертвовал собственным своим мнением и собственными своими склонностями желаниям армии. Власть, вызванная им к бытию, была властью, которую даже и он не всегда мог обуздывать, а потому, чтобы иметь возможность постоянно повелевать, ему неизбежно приходилось иногда повиноваться. Он всенародно объявил, что не он был зачинщиком этого дела, что первые шаги были предприняты без его ведома, что он не мог советовать парламенту нанести удар и что он подчинил свои собственные чувствования силе обстоятельств. Но какие бы мечтания ни обольщали его, он, конечно, не грезил ни о республике на древний лад, ни о тысячелетнем царстве святых. Несомненно еще, что Кромвель одно время намеревался принять на себя посредничество между престолом и парламентом и преобразовать потрясенное государство силою меча, прикрываясь санкцией королевской власти. В этом намерении упорствовал он до тех пор, пока строптивый характер солдат и неисправимая двуличность короля не принудили его отступиться. В лагере начали громко требовать головы изменника, бывшего за переговоры с Карлом. Составились заговоры. Речи, грозившие обвинением в государственной измене, раздавались во всеуслышание. Вспыхнул мятеж, и Кромвель должен был употребить всю силу и решимость, чтобы потушить его. Благоразумным смешением строгости и милости он восстановил порядок, но вместе с тем увидел, что было бы в высшей степени трудно и опасно бороться против ярости воинов, которые смотрели на Карла как на своего врага и врага Божия. Тогда, не желая терять власти и убедившись, что король, обещая ему орден Подвязки, рассчитывает, как это было видно из его письма к жене, перехваченного стражей, “подвязать его к виселице”, Кромвель решился взять дело в свои руки”.

Военные “святые” постановили, что король, вопреки древним постановлениям государства и почти общему настроению нации, должен искупить свои преступления кровью. Общины в это же время приняли решение, клонившееся к соглашению с королем. Солдаты исключили большинство силою. Лорды единодушно отвергли предложение о предании короля суду. Их палата была немедленно закрыта. Ни одно судебное место, известное закону, не хотело взять на себя обязанность судить источник правосудия. Учреждено было революционное судилище. Это судилище признало Карла тираном, изменником, убийцей и общественным врагом, и голова короля скатилась с плеч перед тысячами зрителей против пиршественной залы его собственного дворца...

Глава III. Борьба с парламентом

Развитие радикальных элементов революции. – Уравнители прав и уравнители состояний. – Люди пятой монархии. – Походы Кромвеля в Шотландию и Ирландию. – Борьба армии с парламентом. – Победа армии над парламентом

"Военный деспотизм и военная организация стремятся в конце концов сосредоточиться в руках одного". Это одинаково справедливо как для первобытных общин дикарей, так и для Европы, как в XVII, так и в XIX веке. Диктатура Кромвеля, цезаризм Наполеона – лучшие иллюстрации высказанного положения. Но его можно не только иллюстрировать, можно доказать его безусловную логичность, что я постараюсь сделать на нижеследующих страницах.

Мы должны теперь проследить, как власть постепенно и неуклонно переходила в руки Кромвеля. Процесс этот, однако, совершался не без упорной борьбы и занял ни более ни менее как четыре года (1649 – 1653 годы). Что же так тормозило его?

7 февраля 1648 года по старому стилю, или 17 февраля 1648 года по новому, нижняя палата, собравшись в числе 73 членов, приняла следующее постановление:

"Опытом доказано и вследствие того палатою объявляется, что королевское звание в этой земле бесполезно, тягостно и опасно для свободы, безопасности и блага народного, поэтому отныне оно уничтожается". Еще накануне была уничтожена палата лордов. Вся власть сосредоточилась таким образом в руках нижней палаты, и основание республики было ознаменовано торжественной надписью, вырезанной на новой государственной печати. Эта надпись гласила: "Первый год свободы, восстановленной благословением Божиим, 1648".

От свободы до мира было, однако, очень далеко.

"Со всех сторон, – говорит нам м-с Гетчинсон в своих замечательных мемуарах, – непосредственно после казни короля стали предъявляться проекты реформы. *Всякий* мечтал о собственной конституции и печатал план ее. Немало людей обнаруживали решительные признаки неудовольствия, видя, что их предложения *не сразу* принимаются в расчет. В числе этих людей, в частности, надо назвать Джона Лильборна, отличавшегося умом беспокойным и мятежным, неспособного жить в мире и печатавшего один памфлет за другим. Левеллеры также сделали попытку нарушить спокойствие государства, но Кромвель быстро подавил вызванное ими восстание, за что и

получил сердечную благодарность от парламента”.

Как видит читатель, это было время усиленной агитации, усиленного “брожения умов”. В государстве, расшатанном до последних своих оснований, каждый – большой и маленький – считал себя призванным к решению важнейших вопросов общественной жизни. Мало того, он искренне обижался, когда его не слушали. И благодаря такому возбуждению перед нами сотни памфлетов, сотни проектов новых конституций. Очевидно, что на республику возлагались грандиозные, в большинстве случаев иллюзорные надежды. Полагали даже, что она осуществит идеал царства Божия здесь, на земле. Увы – как далеко еще было оно и тогда... и теперь...

Но познакомимся с партиями.

Прежде всего пред нами левеллеры. Опираясь на исследование М. Ковалевского, мы можем перевести этот термин словами “политические радикалы”. Они представляли из себя наибольшую (сравнительно) силу в рядах оппозиции. Их вдохновителем, их, если можно так выразиться, “теоретическим вождем” был “беспокойный Джон”, “свободнорожденный” и наконец “всеми гонимый” Джон Лильборн. Левеллеры несомненно выделялись из среды индепендентов и рядов кромвелевской армии. Знамя их было наиболее свободолюбивым и наиболее радикальным в политическом отношении. М. Ковалевский считает их предшественниками радикалов современной нам Англии. Чего же хотели они? Сущность их требований можно свести к следующим немногочисленным пунктам:

1. У каждого человека существуют права, которые не могут быть уничтожены никем и ничем здесь в мире. Эти права дарованы ему Богом и его достоинством человека. К ним надо причислить свободу совести, равенство всех перед судом и исключительную подсудность каждого лицам одного с ним состояния (присяжным).

2. Власть сосредоточивается в общинах Англии и у их единственных представителей – депутатов палат. Палата законодательствует. Администрация подчинена ей. Парламентская комиссия следит за исполнением законов во время перерыва сессий.

3. Судебная власть безусловно отделяется от законодательной и исполнительной. Она свободна, “чтобы быть справедливой” (Монтескье был опережен ровно на сто лет).

4. Все общественные должности – выборные. Правом

представительства пользуется всякий англичанин, достигший известного возраста, не живущий за счет общественной благотворительности, не обесчещенный судебным приговором и не состоящий в услужении у частного лица.

Это первая ступень утопии. Религиозная свобода и народовластие – вот ее основания. Фанатическим ее проповедником явился Джон Лильборн. Во имя ее капитан Томсон поднял бунт, в котором и погиб сам вместе с тремя главными сторонниками, расстрелянными, на поле роковой для них битвы.

Но на первой ступени революционный дух остановиться не мог. Как видит читатель, программа левеллеров – политическая по преимуществу: хотя они и высказываются против крепостного права и за уничтожение последних остатков издыхавшего уже в то время феодализма, однако "священного права собственности" они затрагивать не хотят и даже клянутся не затрагивать его. Классовые привилегии исчезают для них в представлении о "гражданских". Еще замечательно, что эти политические радикалы, в противовес духу времени, не ищут религиозной санкции для своих требований. Они ни разу не ссылаются на Писание. Они исходят из разума. Разум устанавливает для них естественные права личности. В остальном они опираются на Великую хартию вольностей. Не то на второй и последующих ступенях утопии. У Вайтлока мы читаем следующий, не лишенный большого исторического интереса, рассказ, в заголовке которого стоит дата 20 апреля 1649 года:

"В это время государственный совет (Cuncil of State) получил известие о появлении неких левеллеров[11] на холмах св. Маргариты и св. Георгия. Сообщалось, что эти люди копали землю и засевали ее кореньями и семенами. Некто Эверард, бывший капрал армии, является их начальником и называет себя пророком. Всего левеллеров тридцать человек, но они уверяют, что вскоре их будет четыре тысячи. Они приглашают всех прийти и помогать им, обещая каждому пищу, питье и одежду. Они говорят, что уничтожат загороди[12] и сделают поля открытыми для труда всякого желающего. Два эскадрона драгунов помешали, однако, левеллерам заниматься их невинным делом и доставили их, "громко протестующих", к генералам – Ферфаксу и Кромвелю. Тут они объяснили следующее, отказавшись предварительно снять шляпы:

"Мы не имели в виду отнять землю у частных владельцев или обнаружить деятельное сопротивление всеми признаваемым

властям. Мы хотели лишь вступить во владение искони признаваемыми за английскими общинниками народными землями (folkland), несколько столетий тому назад отнятыми норманнскими завоевателями. Все следы завоеваний должны быть, по крайнему нашему разумению, ныне стерты ввиду победы народа над королем – прямым потомком завоевателя. Только по недоразумению солдаты сочли нужным вмешаться в наше дело, сожгли наши жилища и арестовали нас. Мы – спокойные и честные люди. Посылайте против нас войска, мы не окажем им никакого сопротивления. Мы не будем бороться с вами ни мечом, ни копьем, но лопатой и плугом, с помощью которых мы сделаем плодоносными пустоши и лежащую без обработки землю общин. Теперь мы говорим с вами, но не для того, чтобы снискать вашу милость. Мы не вправе иметь покровителем никого, кроме Бога. Мы объявляем вам поэтому на добром английском языке, что избрали Бога своим покровителем и заступником". В письме их к Ферфаксу встречаются еще следующие строки: "Когда вам угодно было посетить нас, то мы сказали вам, что не противимся тем, которые хотят иметь законы и правительство, но что сами мы не нуждаемся ни в том, ни в другом. Подобно тому, как земля у нас должна быть общей, так точно общими должны быть скот для ее обработки и все плоды полей. Ничто подобное не может быть предметом купли или продажи, так как всего этого мы можем иметь достаточно для удовлетворения нужд наших. А если так, то какая нам нужда в присвоениях и обманах, в законах, предписывающих сечение, заточение в тюрьму и повешение? Сохраняйте ваших правителей и призывайте нас даже к ответственности перед ними, в случае присвоения нами вашего скота и хлеба и разрушения нами ваших загородей, но предоставьте нам свободу от подчинения властям в пределах наших собственных владений. Предупреждаем вас, что мы не сочтем нужным скрывать под затворами ни хлеба, ни скота; все, что мы имеем, будет предоставлено в полное распоряжение всем". Дальше левеллеры спрашивают: "Хорошо ли, что трудящийся люд должен довольствоваться одной заработной платой, не имея доступа к земле?" – Очень нехорошо, конечно, но это не мешает быть левеллерам людьми, превосходящими других своей наивностью. Непротивление злу – основной догмат их нравственности. Они не хотят выступать против зла жизни с оружием в руках, а лишь служат примером для других. утопия, очевидно, развивается.

Вот, однако, ее третья ступень. Прошу выслушать следующие соображения: "Так как мир просуществовал до потопа 1656 лет, то *поэтому* в 1657 году по Рождестве Христа должен наступить

день Его вторичного пришествия на землю. Так как 2x666 = 1332, а никейский собор был в 325 году, а 1332 + 325 = 1657, то *поэтому* в 1657 году придет Христос и с ним царство Его. Из этого следует, что все правительства равно незаконны, а главное, безбожны, так как народом могут управлять только Бог и его наместник Христос".

Так рассуждали люди пятой монархии с Гаррисоном во главе. Но, хотя в дикой и безобразной форме, они воплощали затаеннейшие стремления своего сердца к правде и справедливости. Надо заметить, что в низших слоях европейского общества было весьма распространено убеждение, что второе пришествие Мессии должно воспоследовать со дня на день. И они ждали, затаив дыхание, ждали, когда на землю Мессия придет:

Тот самый, Чья слава в молитвах поется.
Тот самый, Которого ждет не дождется
Так долго наш бедный народ.

Под видом своей религиозной утопии люди пятой монархии проповедовали анархизм чистой воды.

* * *

Что было делать Кромвелю среди всех этих идеологов, иллюзионеров, утопистов? Постепенно пришлось ему рассориться со всеми ими. Как и почему, увидим ниже, а пока посмотрим, что делает он как "способнейший гражданин республики"?

Подавив революцию в войске, он отправился в Ирландию (1649 год). Здесь роялисты заключили союз с туземным католическим населением против парламентских войск, сосредоточенных в Дублине. В продолжение нескольких месяцев Ирландия была завоевана, сожжена, разорена дотла и три ее провинции из четырех были конфискованы в пользу завоевателя. Здесь единственный раз в жизни Кромвель проявил непонятную в нем и возмутительную жестокость. В Дрогеде, например, двести человек были казнены с оружием в руках. В этой резне проявилась слепая национальная ненависть англичан против ирландцев, протестантов – против католиков. Оправдание, в котором сам Кромвель чувствовал необходимость в данном случае, не удовлетворяет нас: "Я убежден, – писал он, – что это совершенно справедливый суд Божий над зловредными негодяями, руки которых покрыты кровью многих невинных жертв. Я убежден, что это предупредит кровопролитие в будущем.

Только эти соображения и могут оправдать подобный образ действия, который в противном случае повлек бы за собой сожаление и угрызения совести". Нет, такого образа действий никакие соображения оправдать не могут. Кровопролитие действительно было предотвращено на будущее время, но вместо него началась систематическая вековая эксплуатация ирландского народа англичанами, которой суждено закончиться лишь в наши дни.

Без таких жестокостей, но так же быстро (1650 год) была завоевана Шотландия, возмущенная казнью короля и избравшая на его место его сына, Карла II Стюарта.

Оставалось теперь одно большое затруднение – это сам английский парламент, которому до сих пор верой и правдой служил Кромвель. Но теперь обстоятельства переменились.

> "Кромвель, – читаем мы у Гардинера, – старшие офицеры армии и более благородные умы, еще оставшиеся в парламенте, стремились единодушно к осуществлению одного общего желания: к свободному управлению, согласному с решениями избранных представителей. Они желали гарантии свободе мысли и слова, без чего парламентское управление являлось тиранией, только под другим названием. Но они не имели средств, чтобы достигнуть своей цели. Все революционные силы истощились еще до казни Карла, а теперь, когда его преемником явился юноша, о котором не было известно ничего дурного, напор роялистов стал увеличиваться с каждым днем".

Все роялистские движения были только что укрощены в Ирландии и Шотландии. С минуты на минуту их можно было ожидать в самой Англии: стон, вырвавшийся у шеститысячной толпы, присутствовавшей при казни короля, еще не был забыт. Нация наконец совсем не хотела республики, она не искала даже свободы совести. Подчиниться ей или ее представителям значило для вождей индепендентов потерять не только свою власть, но, вероятно, и жизнь.

Они прекрасно сознавали это. Политика парламента в то же время совсем не внушала доверия. К этому времени в нем осталось всего пятьдесят или шестьдесят человек. Они привыкли к господству. Десятилетнее управление делами государства приучило их к деспотизму. Расставаться со своими местами они совсем не хотели. Но неловко было в то же время оставаться в таком малом числе. Члены палаты в этих обстоятельствах надумали прибегнуть к совершенно необыкновенному средству.

Они решили избрать новых депутатов, оставив за собой свои курульные кресла. Мало того, они изобрели для себя выгодное право не принимать в свою среду никого из тех, кто показался бы им негодным или неудобным для службы в парламенте.

> “Весь этот план, – продолжает Гардинер, – был не что иное, как плутовство, которого Кромвель не терпел. Ведь он и его солдаты сражались и проливали кровь свою главным образом за свободу совести, а новый, хотя и на старый лад, парламент не представлял бы никакой гарантии для нее. Ничто не могло помешать ему уничтожить по своему благоусмотрению все прежние эдикты”.

Вопрос о самосохранении все решительнее выступал, таким образом, для индепендентов. Возвращаться было некуда; казнив Карла, они сожгли свои корабли. Они погибли бы на другой день после роспуска их армий, а этот роспуск, очевидно, и во сне и наяву грезился парламенту. Он поднимал этот вопрос в феврале, мае, августе 1652 года, и только главнокомандующий войсками, то есть Кромвель, служил ему постоянной, неодолимой помехой.

20 апреля 1653 года была решена наконец участь Долгого парламента. Выведав раньше мнения главных представителей армии, Кромвель убедился, что сильного протеста он не встретит ни с чьей стороны. Простые солдаты боготворили его; офицеры тоже без исключения держали его сторону, причем многие искренне; зять его Флитвуд управлял Ирландией; преданный Монк – Шотландией. Бояться было нечего, разве течения времени, которое могло неожиданно придать парламенту новую силу. Кромвель понял, что медлить особенно нельзя. Итак, 20 апреля вместе с Гаррисоном он явился в палату, разместив предварительно солдат возле Вестминстера, и спокойно сел на свое место. Вен в это время говорил, с жаром доказывая необходимость билля о новом составе парламента. Наконец Вен кончил речь, и председатель готовился отдать вопрос на голоса. Тогда Кромвель встал и обратился к парламенту, сначала в очень почтительном тоне; он воздал должную справедливость его трудам и усердию; но мало-помалу тон его изменился, его голос и жесты стали гневны; он упрекал членов палаты в медлительности, корыстолюбии, пристрастии к личным выгодам, невнимании к правосудию. “У вас, – закончил он, – нет желания сделать что-либо для общественного блага; вы хотите только навсегда удержать за собою власть. Час ваш настал: Господь отступился от вас; он избрал для исполнения своей воли орудия более достойные. Господь руководит мною и повелевает мне

делать то, что я делаю". Вен, Уэнтворт и Мартин быстро встали, чтобы отвечать ему. "Вы, может быть, находите, – продолжал Кромвель, – что моя речь не парламентская? – согласен, но не ждите от меня другой речи". Уэнтворту удалось наконец произнести несколько слов: "Никогда еще парламент не слыхал подобных слов; они тем более ужасны, что сказаны его служителем, которого парламент, по своей беспримерной доброте, так высоко поставил и сделал тем, что он есть". Кромвель бросился на середину залы и, надев шляпу, закричал: "Вон! Вон! Я положу конец вашей болтовне!" Он подал знак Гаррисону: дверь отворилась; вошли человек двадцать или тридцать солдат под начальством полковника Уорслея. "Вы не составляете больше парламента! Выходите вон! Очистите место для более честных людей!" Кромвель ходил взад и вперед, топая ногой и отдавая приказания: "Заставьте его сойти!" – сказал он Гаррисону, указывая на председателя, сидевшего в своем кресле. Гаррисон попросил председателя сойти; Ленталь отказался. "Сведите его сами!" – проговорил Кромвель. Гаррисон робко и почтительно взялся за мантию председателя, и тот покорился.

Разогнав парламент, Кромвель вернулся в Уайтхолл. Там нашел он многих офицеров, ожидавших развязки события. Рассказав им о случившемся, он прибавил: "Когда я отправлялся в палату, я никак не думал, что сделаю это; но я почувствовал на себе влияние духа Божия, столь могущественное, что уже не внимал голосу плоти и крови".

То же самое сделал Кромвель и с государственным советом. Уходя, Брадшоу сказал ему: "Нам известно, как поступили вы сегодня утром в палате, и через несколько часов узнает об этом вся Англия. Но *вы ошибаетесь, если думаете, что парламент распущен: никакая власть земная, кроме самого парламента, не может распустить его. Имейте же это в виду"*. Все встали и вышли вон. На другой день прохожие останавливались у дверей палаты перед громадной афишей, вероятно, ночным произведением какого-нибудь кавалера, который был рад, что Кромвель отомстил за него республиканцам; на афише было написано: "Отдается внаем пустая палата"[13].

* * *

Насилие над Долгим парламентом возбудило в Лондоне и во всей Англии только любопытство, равнодушное и насмешливое; ни одной руки, ни одного голоса не поднялось на его защиту.

– Никто не слыхал, – сказал Кромвель в грубом порыве

торжества, – чтобы хоть какая-нибудь собака лаяла, когда они уходили.

Все молчали, потому что боялись говорить. Но несомненно, что с этой минуты Кромвель навсегда и окончательно поссорился с республиканцами. Они разочаровались в нем, а дальнейшие его поступки клонились совсем не к тому, чтобы восстановить доверие. Он стремился к управлению. Он хотел править так, как сам считал лучшим. Он искренне верил, что его планы внушены Богом. Видя перед собой страну, измученную и истерзанную десятью годами революционной войны, он прежде всего вознамерился водворить в ней порядок и сделать так, чтобы никто не мешал честному человеку работать и жить. Но этот порядок он водворял круто и деспотически. Не в его привычках было останавливаться перед препятствиями: он ломал их без сожаления. Под его правлением "вольности" Англии отошли в область мечтаний. Он употребил невероятные усилия, чтобы задержать революцию в пределах религиозно-политического переворота и не дать хода ни радикализму, ни мистическому сектантству. Он достиг этого. Его оправдание – то, что нация нуждалась в мире. Предыдущий десятилетний период страшно утомил ее. Во многих местах порвались все социальные связи: каждый день приходилось считаться с шайками грабителей и убийц. Революционный дух, в свою очередь, забегая на несколько столетий вперед, требовал в XVII столетии того, чего Англия напрасно еще добивается и в XIX.

Разогнав парламент и добившись почти абсолютной власти, Кромвель решился ему противодействовать. Республиканцы возненавидели его. Они имели на это причину. Между ними и Кромвелем было глубокое *принципиальное разногласие, разногласие идеологов с человеком факта.* Нам еще придется подробно разобраться в этом, пока же вот конкретный пример, как постепенно и необходимо менялись отношения политических радикалов к Кромвелю.

С самого начала революции в памфлетной литературе имя Джона Лильборна, "свободнорожденного Джона", стало попадаться особенно часто. Это был человек несомненно талантливый и страстный. При первом призыве к оружию он вступил в ряды парламентской армии, но в рядах отряда Эссекса ему не понравилось. Он заметил в графе "некоторую религиозную нетерпимость" и "как горячий защитник свободы, как радикал и агитатор" не мог помириться с ней. Он поспешил в Линкольншир к Кромвелю, которого знал как приверженца "дорогой моему сердцу веротерпимости". С Кромвелем он сошелся очень близко и о своих отношениях к нему выражается так: "Он был моим

сердечным другом; он сильно настаивал на моей помощи и побудил меня доставить ему материал к обвинению Манчестера в измене, а этот шаг восстановил против меня всех, кто был связан с Манчестером дружбой и интересом". Лорду Манчестеру удалось даже устроить дело так, что Лильборн заключен был в тюрьму по обвинению палаты общин в оскорблении чести одного из членов парламента. Однако благодаря прямому вмешательству Кромвеля удалось не только освободить Лильборна из Ньюгетской тюрьмы, но и выхлопотать ему порядочное денежное пособие в вознаграждение за убытки, понесенные им в борьбе с епископами еще при Карле. В одном из своих памфлетов Лильборн приводит текст письма, которым снабдил его по этому случаю будущий протектор Англии. "Поистине прискорбно, – пишет Кромвель, – видеть, как разоряются люди благодаря своей верности общественным интересам и как мало людей принимает это к сердцу". Но подобные отношения к "свободнорожденному", беспокойному Джону продолжались очень недолго – не долее минуты окончательной победы над королем. С этой поры политика Кромвеля меняется: мы видели даже, что он мечтает о "восстановлении" Англии под эгидой Карла Стюарта. "Беспокойный Джон" задумался: многое казалось ему подозрительным в поведении Кромвеля. Он решился отделиться от него, чтобы потом сделаться его открытым врагом. В 1653 году Лильборн попадает на скамью подсудимых. Это Кромвель отправил его *сюда.* Его спасает только популярность, так как в день произнесения приговора шесть тысяч человек толпились возле здания суда, и повсюду были разбросаны билетики с красноречивым объявлением, что "в случае осуждения свободного Джона шестьдесят тысяч пожелают узнать ближайшие к тому причины". В своих последних памфлетах Лильборн жестоко нападает на Кромвеля. Он называет его изменником и предателем. Он постоянно проводит параллели между генералом, "стремившимся к власти" и "достигшим ее", – не в пользу, конечно, последнего. "А не Кромвель ли, – спрашивает Лильборн, – клялся мне сделать Англию свободнейшей страной в мире? Не он ли однажды за вечерним столом накануне похода в Шотландию обещал приложить все свое старание к тому, чтобы доставить Англии возможность воспользоваться плодами победы? Не он ли признавал необходимым установить более равномерное представительство и упорядоченность в созыве парламента? Лицемер!.." Уже в 1651 году Лильборн предупреждает своих соотечественников, говоря, что Кромвель хочет сделаться королем.

Республиканцы, некоторые по крайней мере, еще готовы были

простить ему поступок с парламентом, но протектората они не могли простить ему никогда. Для них, например, он так навеки и остался “интриганом”. А между тем к установлению единовластия Кромвеля клонилось все. Энергия, с какой он охранял порядок в государстве, страстная привязанность армии, торжество в морской борьбе с голландцами, раздоры партий, общее утомление, неминуемо наступающее после революции, – вот элементы, из которых постепенно и необходимо созидался его трон.

4 июля в Уайтхолле собрались нотабли, приглашенные Кромвелем для рассмотрения неотложных дел. Это собрание не было парламентом, так как депутаты явились по приглашению главнокомандующего, а не по выбору народа. В день открытия Кромвель произнес двухчасовую речь, причем один из офицеров держал его плащ, как обыкновенно держат верхнюю одежду короля в подобных случаях. Речь Кромвеля была страстным призывом к заботам о народе. Он обрушился прежде всего на Долгий парламент, указал на его эгоистическую, вероломную политику, на его пренебрежение правами и вольностями. “Если бы, – сказал он, – наши вольности и права погибли в борьбе, мы бы по необходимости принуждены были терпеть; но терять их по беспечности и апатии – значило, с нашей стороны, сознаться в трусости, измене Богу и его народу”. – “Умоляю же вас, – продолжал Кромвель, – имейте попечение о стаде, будьте кротки и верны со всеми; если христианин, самый нищий духом, *христианин, наиболее заблудший,* желает жить мирно под вашей властью – покровительствуйте ему. Я когда-то сказал – правда, может быть, ошибочно, – что мне было бы *легче поступить несправедливо с верующим, чем с неверующим.* Направляйте все усилия ваши к распространению евангельского учения, ободряйте его проповедников. Сознайте же ваше призвание, ибо оно от Бога”.

Кромвель, однако, совсем не хотел, чтобы благочестивое собрание прямо и непосредственно вмешивалось в управление государством. Последнее он оставлял себе. Он не хотел также, чтобы шли разговоры об установлении конституции. Их он считал преждевременными. “Придет пора, – закончил он, – и свободно избранный парламент сменит вас, но я и сам не знаю, когда народ сделается достойным свободных выборов”.

Намерения Кромвеля были просты и ясны. Собрание было нужно ему преимущественно для декорума. Ни одного самостоятельного шага, хоть сколько-нибудь расходящегося с его собственными планами, он бы не разрешил ему. Благочестивое собрание оказалось очень неуживчивым и, мало того, самым

причудливым и непрактичным из всех, которые где-либо существовали на свете. В набожности депутатов сомневаться было нельзя: они молились столько же, сколько рассуждали, даже более того; иногда все заседание проходило в молитвах. Но это мало подвигало дела вперед. В несколько месяцев собрание успело восстановить против себя все консервативные элементы общества. Тон его речам задавали такие фанатики и утописты, как Гаррисон и Фок – люди пятой монархии. Они серьезно объявили, что настало время для царства святых и что они призваны управлять этими святыми. Что значило это царство? Торжество любви и мира среди людей, спокойная жизнь без борьбы и злобы, проводимая в ликованиях по поводу пришествия Мессии. Чудный призрак государства как христианской общины носился перед разгоряченным воображением сектантов. Но это был призрак. Люди практики и реального факта не хотели гоняться за ним. Они говорили: “Низвержение духовенства, попрание законов и собственности – вот главное желание нашего парламента; законы и права англичан, за которые этот народ так долго проливал кровь, они хотят заменить кодексом, составленным по книгам Моисея, годным для евреев... Они – враги всякого умственного труда, всякого знания”.

12 декабря участь парламента была решена. По предложению одного полковника, меньшинство постановило передать власть в руки лорда-генерала и отправилось к нему торжественной депутацией. Но Гаррисон и двадцать семь его сторонников не прекратили заседания и приступили к молитвам. Вдруг вошли два офицера и предложили им удалиться. “Мы не уйдем, пока нас не принудят к тому силою”. “Что же вы тут делаете?” – спросил Уайт. “Мы ищем Господа”, – отвечал Гаррисон. “В таком случае, – возразили ему, – ищите Его где-нибудь в другом месте, потому что вот уже двенадцать лет, как мне известно, он не бывает здесь...”

Зал был очищен солдатами, и так окончил свое существование самый странный из парламентов Англии, не передав потомству даже своих иллюзий, а лишь презрительное свое прозвище “баребонского” – парламента “голой кости”.

Только что описанная деятельность благочестивого учреждения оказалась как нельзя более выгодной для Кромвеля. Консервативные элементы общества, испуганные уверениями “святых”, что в наступающем царстве Христа нет места ни для властей, ни для собственности, сплотились возле него, видя в нем единственного человека, способного поддержать порядок. Армия тоже поняла, что никогда никакой парламент не будет на ее стороне, так как даже баребонский, ею самой созванный, делал

“многие тайные намеки на необходимость ее роспуска”. Нация по-прежнему оставалась равнодушной и не наводила даже справок о “форме правления”. Беспокойный Джон Лильборн сидел в это время под крепкими замками в Ньюгете, изредка прогуливаясь по двору в сопровождении “собаки-тюремщика”.

Глава IV. Протекторат

Кромвель становится протектором. – Отношение к роялистам и сектантам. – Заговор. – Парламенты Кромвеля. – Его деспотизм. – Перемена в характере. – "Счастливейший день в жизни"

16 декабря 1653 года разыгралась поэтому сцена, которую давно можно было предвидеть. В этот день, ровно в час пополудни, пышный кортеж двинулся из Уайтхолла в Вестминстер между двумя линиями солдат. Лорды-комиссары государственной печати, лорд-мэр и ольдермены лондонского Сити, все в красных мантиях и церемониальных каретах, были во главе поезда; за ними – Кромвель, в костюме из черного бархата, в ботфортах, в шляпе с широкой золотой тесьмой. Прибыв в Вестминстерхолл, кортеж вошел в залу канцлерского суда, на одном конце которой было поставлено кресло правителя. Когда Кромвель стал перед этим креслом и все присутствовавшие разместились вокруг него, генерал Ламберт объявил, что парламент распущен по добровольному согласию его членов, и просил лорда-генерала от имени армии и трех наций, в силу необходимости, вытекающей из самого положения дел, принять протекторат над республикой Английской, Шотландской и Ирландской. После минутной скромной нерешительности Кромвель дал свое согласие. Тогда один из секретарей совета, Джессон, прочел конституционный акт, где в сорока двух пунктах был изложен смысл протекторского правления. Кромвель произнес и подписал клятву "принять на себя управление и протекцию над соединенными нациями, сообразно правилам, изложенным в прочитанном акте".

Вынужденного во всем этом ровно ничего не было. Возможным представлялся выбор из трех комбинаций: или провозглашение королем Карла II, или диктатура парламента, или же, наконец, протекторат Кромвеля. Должно было победить то, на чьей стороне в данную минуту был maximum силы. Она вся сосредоточилась в руках армии и ее вождя. Это понимал каждый, и кто был способен покориться – покорился, громадное большинство совершенно добровольно.

Но сектанты, анабаптисты, милленарии не отреклись от дорогой им иллюзии даже в эту минуту. На другой день после провозглашения протектора толпа многолюднее, чем когда-либо, собралась вокруг кафедры своего озлобленного проповедника Фика. Фик свирепствовал выше всякой меры. "Пойдите, скажите вашему протектору, – кричал он, – что он обманул народ Господа,

что он – лжец и клятвопреступник; недолго царствовать ему; с ним случится худшее, чем с последним протектором Англии, горбатым тираном Ричардом. Скажите ему, что вы от меня это слышали". Фика потребовали в совет и арестовали. Когда спросили Гаррисона, самого известного из анабаптистов, признает ли он протекторское правление, он гордо ответил: "Нет". Отставленный от службы, Гаррисон получил приказание отправиться домой в графство Стаффорд и там держать себя посмирнее.

Надо заметить, что с сектантами Кромвель всегда очень церемонился. Он удовольствовался тем, что отрешил их от должностей. Когда же протектор имел дело с людьми, принадлежавшими к этой партии и пользовавшимися влиянием, но не занимавшими никаких официальных мест, – известными проповедниками или народными говорунами, то он приглашал их к себе, соблюдал прежнюю фамильярность, сам притворял дверь после того, как они входили к нему в комнату, просил их садиться и покрывать голову; уверял, что презирает этикет и пышность, которые в иных случаях поневоле должен соблюдать, и затем откровенничал с ними как со своими старыми и истинными друзьями. Он говорил им, что стократ променял бы протекторский сан на пастушеский, но видит, что прежде всего не должно дать дойти нации до последней степени беспорядка и стать добычей общего врага; поэтому-то он и решился (по его собственному выражению) идти некоторое время между живыми и мертвыми, будучи, однако, всегда готов сложить с себя лежащее на нем тяжелое бремя с великой радостью. Потом он молился вместе с ними, трогая их до глубины сердец своею искренностью. Самые подозрительные бывали потрясены в своем неверии, самые озлобленные примирялись, и если Кромвелю не удалось подавить совершенно всякое неприязненное брожение в рядах партии, то по крайней мере он не давал ему распространяться, ни вспыхивать и большую часть этих набожных энтузиастов удерживал на своей стороне или заставлял при всем их недовольстве и нерасположении оставаться в нерешимости и бездействии.

Совсем иначе действовал Кромвель с роялистскими заговорщиками; против них-то устремлял он свои демонстрации, грозившие строгими мерами, а в случае нужды приводил в исполнение и самые эти меры, частью для действительной защиты себя от их замыслов, частью же для того, чтобы собрать вокруг себя республиканцев, полных ненависти или проникнутых духом беспокойства. В поводах к этому недостатка не было. Через месяц после провозглашения протектората в Сити было открыто

сборище, состоявшее из одиннадцати роялистов, замышлявших произвести общее восстание партии и убить Кромвеля; в апреле была найдена прокламация, якобы от имени Карла II, в которой говорилось, что “убить протектора – это подвиг, одинаково приятный Богу и всем честным людям”. За голову назначалась высокая цена, чины, кресты, ордена и земли. В мае был открыт заговор Джерарда и так далее. Но было бы тяжело и излишне перечислять все перипетии этой борьбы, в конце которой роялисты должны были сознаться, что, пока Кромвель жив, все их происки бесполезны. С каким-то мистическим ужасом произносили они самое имя протектора.

Роялистов можно было, по крайней мере, уничтожить, и самую трудную борьбу Кромвелю пришлось выдержать не с ними, а с парламентом и республиканской армией. И эта борьба с каждым днем становилась все ожесточеннее, так как Кромвель все дальше и дальше уходил от сорока двух статей и приближался к образцу старой, им же уничтоженной монархии. Сущность его протекторства вначале сводилась к тому, что “верховная и законодательная власть Англии сосредоточивается в одном лице и в народе, собранном в парламенте”. *Одно лицо* и было зародышем начинавшейся монархической реакции. Кромвель сильно ускорил ее приход. Конституционный акт предоставлял частью одному ему лично, частью при содействии государственного совета, от него же зависевшего, почти все атрибуты королевской власти. Он поспешил воспользоваться этим. Судьям и всем высшим государственным чиновникам велел он тотчас выдать рескрипты, им самим подписанные. Все публичные акты, административные и судебные, совершались его именем; он торжественно установил свой государственный совет и подчинил его рассуждения большей части тех правил, которым издревле следовал парламент. 8 февраля 1654 года, по его внушению, в Сити дан был ему великолепный обед, в конце которого он возвел лорда-мэра в рыцарское достоинство и подарил ему собственную свою шпагу, как это делал обыкновенно новый король при своем восшествии на престол. Он поселился в королевских покоях, которые по этому случаю были богато поновлены и меблированы. Дом его принял всю пышность и все формы двора. В сношениях с иностранными посланниками он ввел правила и этикет, существовавшие при первоклассных монархических дворах.

И всюду носился слух, что он скоро будет королем, что он уже король и коронован тайно.

Но он не торопился... в этом, по крайней мере. Зато, говорит Гизо, быстро и в должной мере совершал он многие из тех

реформ, на которые Долгий парламент и парламент баребонский потратили столько слов. Управление финансами, поправка, содержание дорог, положение содержавшихся под стражею за долги и внутреннее управление тюрем – все было установлено в видах доброго порядка. Дуэли были запрещены. Новый устав, тщательно обработанный, ввел в разумные и гуманные границы судебную расправу. Христианские проповеди и разумное управление приходами были поощрены. Улучшены школы и положение школьных учителей, а 12 апреля 1665 года было наконец издано повеление о присоединении Шотландии к Англии.

Внешняя политика Кромвеля была более чем блестяща. Чтобы не возвращаться к ней, мы позволим себе вкратце сразу охарактеризовать ее. Она была преисполнена национального достоинства. Перед величием гения протектора принуждена была склониться сама Европа. Сначала она признала его в сане, потом невольно подчинилась его руководству. По прошествии полувека, в течение которого Англия едва ли имела более веса в европейской политике, чем Венеция или Саксония, она вдруг сделалась самой грозной державой в свете, предписала Голландии условия мира, отомстила варварийским пиратам за обиды, нанесенные ими всему христианскому миру, победила испанцев на суше и на море, завладела одним из прекраснейших Вест-Индских островов (Ямайкой) и приобрела на фламандском берегу крепость (Цюнкирхен), утешившую национальную гордость за потерю Кале. Она царила на океане. Она шла во главе протестантских интересов и протестантского движения. Все реформатские церкви, рассеянные по римско-католическим королевствам, признавали Кромвеля своим покровителем. Гугеноты Лангедока, пастухи, которые в своих альпийских деревушках исповедовали протестантизм древнее аугсбургского, были защищены от притеснения одним лишь звуком его великого имени. Сам папа принужден был проповедовать гуманность и умеренность папистским государям, ибо голос, редко угрожавший по-пустому, объявил, что, если бы народу Божию не было оказано снисхождения, английские пушки загремели бы в замке св. Ангела...

* * *

Однако все эти поразительные успехи отнюдь не мешали Кромвелю ссориться с парламентом и все больше расходиться с ним.

Мне думается, что этот спор протектора с республиканской партией имеет большой исторический и даже философский интерес. Поэтому придется подробнее остановиться на нем.

Мы уже видели, что английская революция преследовала две цели: *во-первых* — восстановление старых английских вольностей (сюда надо включить параграфы Великой хартии и принципы самоуправления); а *во-вторых* — свободу совести. К этому постепенно присоединились пункты радикальной программы: уничтожение феодализма, королевской власти, государственной церкви и палаты лордов.

Революционным принципом было проведение в жизнь *личного* начала. Свобода совести и мысли, книгопечатания, митингов, равноправность всех перед законом, уничтожение привилегий крови и другие требования радикалов призваны были расширить сферу прав каждого отдельного человека за счет сословного или государственного начала.

Было время, когда Кромвель несомненно и очевидно сочувствовал всем этим принципам. Но между Кромвелем – полковником парламентской армии, другом Лильборна и Гаррисона, и тем же Кромвелем – лордом-протектором Англии – разница очень существенная. Но к чему она сводится – к принципу или форме? Главным образом, к последней. Он прекрасно знал, что его упрекают в деспотизме. Лильборн его власть называл “новыми цепями Англии”. Эти упреки повторялись беспрестанно и были неприятны Кромвелю. Протектор постоянно оправдывался, даже в то время, когда, находясь на вершине могущества и славы, он бы мог обойтись и без всяких оправданий. Все свои деспотические меры Кромвель объясняет тревожным положением государства. Он не устает возвращаться к этому пункту. Было ли оно на самом деле? Но задать подобный вопрос – не то же ли самое, что спросить себя: “Были ли роялистские заговоры? прекратились ли претензии Карла II? успокоились ли епископалы и паписты? выдумал ли Кромвель движения анабаптистов, левеллеров, милленариев? вернулась ли Англия сразу к своему обычному состоянию, или же, напротив, революционная искра тлела под развалинами прежних учреждений, готовая ежеминутно разразиться новым пожаром? чего, наконец, хотел народ, самая нация – скорого и правого суда, покоя и отдыха или продолжения революции coute que coute?[14]” Стоит задать себе эти вопросы, чтобы немедленно же получился вот какой ответ: большая часть произвольных мер лорда-протектора на самом деле объяснялась ужасным состоянием государства, в котором, по-видимому, было забыто самое слово “порядок”. Не миф и не выдумка Кромвеля все эти заговоры, этот

раздор партий, готовых ежеминутно, как он говорил, перегрызть друг друга, эти грабежи и убийства, эти претензии каждого маломальски выдающегося человека забраться на высшее место, чтобы немедленно же переменить все по-своему.

Одинаково несомненно, что деспотизм Кромвеля объясняется и элементарнейшим чувством самосохранения. На самом деле ему предстояла дилемма: или упрочить свою власть до той степени, когда она станет выше всяких посягательств, или же рано или поздно отправиться на эшафот. Казнь Карла была сожжением кораблей. После нее возвращаться назад было невозможно. Примирение с Карлом II, которое в идее соблазняло многих дипломатов, задумавших даже бракосочетание младшей дочери протектора, леди Франциски, с наследником Стюартов, принадлежало к области утопий. “Карл, – говорил Кромвель, – никогда не простит мне смерти отца, а если бы он простил, то был бы недостоин короны”. Чтобы поддерживать свою власть, Кромвелю надо было постоянно усиливать ее. Эта логика была продиктована роковой необходимостью. Ведь его власть, в сущности, не признавали, ей только подчинялись. При малейшей неудаче, при малейшем ослаблении она рассеялась бы как дым. Протектор это прекрасно понимал. Он видел, какое громадное, неодолимое преимущество имеют перед ним Стюарты. Это было преимущество традиции – величайшее из преимуществ по своей интенсивности, упорству, настойчивости. Власть же Кромвеля опиралась лишь на его гений да на успех революции, которую большинство к этому времени успело уже возненавидеть. Там, где законному королю достаточно было сказать одно слово, протектору приходилось двигать пятидесятитысячную армию и напрягать все усилия своего гения. Ему не прощалось ничто. Все с нетерпением ждали, когда же наконец счастливая звезда изменит ему, когда его зарежет нож заговорщика, разобьют испанцы, взорвут паписты или сектанты? Это было поистине трагическое положение. Кромвель отличался слишком проницательным умом, чтобы удовлетвориться внешней покорностью и почить на лаврах. Он прекрасно знал, что для него почить на лаврах – это очутиться в Тауэре, а потом – на эшафоте. Скрыться в собственном ничтожестве было нельзя; для примирения надо было вернуть все прошлое. Да он и не хотел примирения!..

Не забудем еще династических интересов лорда-протектора. По этому поводу Гизо пышно выражается: “Вместе с тем, простирая свое честолюбие за пределы гроба, вследствие той жажды долговечности, которую можно назвать печатью величия, он желал оставить в будущем своему роду обладание властью”. Простирать свое честолюбие за пределы гроба Кромвель как

гений имел, конечно, полное право и основание, но в данном случае он выбрал совсем скверный путь. Он должен был знать, что за человек его старший сын Ричард, который не только протектором, но и хорошим пастухом едва ли мог быть. Но, задумав такое ни с чем не сообразное дело, Кромвель впутал себя в лишние неприятности с парламентом и дал вполне основательный повод к бесчисленным и даже презрительным упрекам. Конечно, он боялся возвращения на престол Стюартов и гибели всего созданного, но какое же препятствие воздвигал он им на пути к трону в лице Ричарда? Ставить на столь ответственное место, не очень умного, хотя и в высокой степени добродушного джентльмена, любившего впоследствии за стаканом хорошего вина посмеиваться над своим “трехдневным” протекторатом и с улыбкой пересматривавшего подписанные им государственные бумаги, значило действовать в состоянии полной слепоты. И здесь-то прозорливость и проникновение изменили Кромвелю как никогда и ни в чем.

Но, спросит читатель, раз Кромвель не хотел ни в чем изменять своему прошлому, то почему же не остался он преданным сыном республики, ее охранителем, почему не примирился он с диктатурой парламента и не оставил власти в руках республиканской партии?

Во-первых, потому, что такой партии не было: двести-триста хотя бы умных людей никакой партии не составляют. Нация была настроена монархически. Диктатура парламента действительно существовала одно время, но почему? По той простой причине, что она опиралась на армию, созданную самим же Кромвелем. Но парламент и армия ужиться не могли и никогда и не уживались. И тот, и другая претендовали на первенство. Парламент только и думал что о роспуске армии, что значило открыть свободный путь Стюартам, а для Кромвеля и его солдат это ничего доброго не предвещало.

Это, повторяю, во-первых, но есть еще и во-вторых – гораздо более важное и, пожалуй, интересное.

“Кромвель, – говорит Гизо, – вовсе не был философ. Он действовал не по предварительно обдуманному и систематически расположенному плану, но руководствовался в деле управления высоким инстинктом и практическим смыслом человека, которому Божий перст назначил править народом”. Я полагаю, что Гизо не совсем прав. Высокий инстинкт и практический смысл, конечно, прекрасные вещи, но у Кромвеля было и еще нечто. Правда, он не сочинял философских трактатов: о систематически расположенном плане во время революции даже смешно разговаривать. Но я не сомневаюсь, что у Кромвеля было

настоящее философское миросозерцание и даже целая философия. Она вся изложена в его речах, не в особенно завидном порядке, но достаточно ясно. Главная установка этой философии была различная: вера в Промысел, управляющий судьбами людей, *и необходимость жизни.*

Первая посылка Кромвеля гласила: в основании всякого права лежит сила; проще: сила есть право. Это не так страшно, как кажется с первого взгляда. Попробуем объясниться. Все живет, потому что имеет достаточно основания, то есть достаточно внутренней силы для жизни. Любой лепесток должен погибнуть без этой внутренней силы. Он пожелтеет, завянет и упадет, повинуясь роковому приговору справедливой природы. Но лепесток живет не только потому, что у него есть внутренняя сила (хотя бы способность производить необходимый обмен веществ), он живет математически до той минуты, пока сила не израсходована. Ни мгновением больше, ни мгновением меньше, ибо откуда взять недостающее мгновение, куда деть мгновение лишнее? Так в природе. В человеческой жизни несколько иначе. Никакая традиция не может поддерживать увядшего лепестка, и он должен упасть, хотя бы все юристы, все китайские мандарины собрались и стали уверять, что он ни упасть, ни сгнить не может. Вся сила израсходована, лепесток зеленел и желтел определенное количество мгновений – о чем тут рассуждать? Но человек рассуждает. Никакой исторический опыт не способен научить его той простой истине, что без силы нет жизни и смерть – это итог до конца израсходованной силы. Хотите доказательств? Откройте любую страницу истории, и вы найдете их бесчисленное множество. Ведь все, что существует, было вызвано некогда к существованию действительной необходимостью вещей. Каждое учреждение, большое или маленькое безразлично, удовлетворяло в свое время известной потребности. В этом-то и заключалась их сила. Это и давало им право на бытие. Но прошли века, создавшие для всех этих учреждений пурпурную и торжественную мантию традиции. Под ее покровом они чувствуют себя как нельзя лучше, в полной безопасности и с полнотой душевного спокойствия. Они все еще сильны, так как способны вдохновлять своих сторонников, и в умах людей сложилась мысль об их безусловной, пожалуй, вечной необходимости. Но где те потребности, те задачи жизни, которым удовлетворяли некогда папство, католицизм, рыцарство? Потребности исчезли, остались лишь формы общественной организации. Что они такое? Пурпурная торжественная мантия, одинаково способная прикрывать и Цезаря, и Ромула Августула.

Вывод из этого прост и ясен. Чтобы обеспечить за собой

известное право, человек прежде всего должен обеспечить за собой известную силу. Кромвелю говорили о народовластии. “Прекрасно, – отвечал он, – но способен ли народ властвовать над собой?” Ему говорили о диктатуре парламента. “На что может опереться парламент?” – спрашивал он.

Между тем на стороне армии и его самого была действительная сила. “Грубая физическая сила!” – скажет читатель... и ошибется. Ничего грубого, ничего физического – по крайней мере на первом плане.

Кромвель постоянно говорит нам о Провидении, о его путях, о том, что он сам избран для осуществления воли Промысла. В XVII веке – это совсем не были метафоры.

Мы, кроме того, не имеем решительно никакого основания предполагать, что Кромвель лицемерил. Нельзя ж во всем, чему только мы не сумеем найти отклика в своей собственной душе, видеть ложь и считать, что при помощи лжи можно достигнуть в жизни чего-нибудь великого! Пусть же теперь читатель припомнит, как объяснял Кромвель победы свои и армии. Он искренне верил, что путем этих побед Промысел осуществлял свои предначертания. В конце концов победа сосредоточилась в его руках. Такова воля Провидения. Оно дало нужные для победы силы. Оно посрамило врагов. Оно не раз обращало в бегство неприятеля, втрое сильнейшего. Оно, наконец, постоянно защищало эту грудь от ран и даже царапин в бесчисленных кровопролитных стычках. О каком еще праве надо рассуждать? Давая победу, не может же Промысел отнимать плоды ее?..

Кромвель верил в свое призвание, в свое предназначение. Вот верховная санкция всех его прав, а совсем не 42 пункта парламентского акта, утверждавшего его протекторат. Акты меняются, один уничтожает другой; но есть и нечто неизменное: это Промысел. Доверившись ему, человек может не обращать внимания на все остальное. Сила есть право. Но эта сила дана от Бога. Это не иллюзия, это громадный жизненный факт, подтверждаемый бесчисленными победами...

Республиканцы-идеологи могли опираться на требования чистого разума. Кромвель предпочитал опираться на необходимость жизни. Разногласие принципиальное и даже философское.

Необходимость жизни – второй важный пункт миросозерцания Кромвеля. Ни на минуту не исчезает он из его помыслов. Вы сотни раз встречаете его повторение в речах, письмах и разговорах. Раз ему пришлось пререкаться с одним из самых упорных и вместе с тем тупоголовых республиканцев, с Лудло.

Кромвель. Скажите же, пожалуйста, чего вам нужно? Не всякий ли имеет право быть добрым настолько, насколько хочет? Чего же еще можете вы желать?

Лудло. Нетрудно определить, чего нам нужно.

Кромвель. Скажите же мне, что именно?

Лудло. Нам нужно то, из-за чего мы бились: чтобы нация была управляема с ее согласия.

Кромвель. Я столько же, сколько всякий другой, стою за этот образ правления. Но *где это согласие нации?* У пресвитериан, индепендентов или анабаптистов?

Протектор мог бы спросить еще: где самая нация?

Любопытна также в этом отношении его речь о войне с Испанией. Он ежеминутно возвращается к той мысли, что эта война необходима по самой сущности вещей. Он сознает всю важность этой идеи, но у него недостает силы, чтобы хорошо сформулировать ее. И он повторяет ее десятки, сотни раз на тот или другой лад, в той или другой форме. А между тем мысль его очень проста. Он хочет сказать, что можно воевать (как и вообще поступать в жизни) под воздействием *иллюзий,* общественного самолюбия, вследствие собственного неправильно понятого интереса. “Вы в войне с Испанией, – говорил он. – Мы втянули вас в эту войну *по необходимости – оправдательная причина для действий человеческих, стоящая выше всех писаных законов*... Испанец – ваш величайший враг, враг *естественный* и как бы указанный Провидением, потому что он воплощенный папизм... Нет средства ни добиться от Испании удовлетворения, ни защитить себя от нее. Мы требовали от нее для наших купцов только дозволения иметь в кармане Библию и молиться по их вере... но нечего ждать от испанца свободы совести (первая причина *естественной* и *необходимой* вражды)... Намерение Испании – захватить в свои руки господство над всем миром; к осуществлению этого намерения она видит в нас, в нашей нации, самые сильные препятствия!.. Если вы заключили мир с государством папистов, вы с ним и в союзе, и не в союзе, потому что мир продолжается только до тех пор, пока папа не сказал: Аминь”...

Но раз человек опирается на необходимость жизни, то он должен и для нее находить высшую санкцию. И здесь она давалась Кромвелю религией. “Он верил, – говорил Карлейль, – что Бог, а не дьявол управляет миром. Он верил, что высшая справедливость должна быть воплощена в жизни и что все идет к этому путем усилий, путем борьбы... Хорошо быть в этой борьбе на стороне Бога, слишком нехорошо – на стороне Вельзевула”... Оттого-то факт и имел в его глазах такое громадное значение. В

нем Промысел дает свои указания человеку.

***

Со спокойной совестью буду я излагать теперь дальнейшие события протектората Кромвеля. Читатель может составить себе самостоятельное представление о его деспотизме. Но вот, между прочим, слова Гизо, сказанные как раз по этому поводу:

> “Немного найдется деспотов, которые до такой степени, как Кромвель, сдерживали бы себя в пределах действительной необходимости и предоставляли уму человеческому столько свободы мысли. Один из пороков узурпированной абсолютной власти состоит в том, что она для собственного существования принуждена поддерживать и усиливать в обществе опасение тех зол, от которых сама обещает избавить его. Кромвель, может быть, меньше всех других великих деспотов прибегал к этой лжи, потому что его кратковременный деспотизм произошел от ясных и естественных причин, и сам он не раз пытался преобразовать его в умеренное правление”.

Теперь факты.

“План Кромвеля, – говорит Маколей, – с самого начала имел значительное сходство с древней английской конституцией, но через несколько лет он счел возможным пойти далее и восстановить почти все части прежней системы под новыми названиями и формами. Титул короля не был возобновлен, но королевские прерогативы были вверены лорду верховному протектору. Государь был назван не величеством, а высочеством. Он не был коронован и помазан в Вестминстерском аббатстве, но был торжественно возведен на престол, препоясан государственным мечом, облачен багряницей и наделен драгоценной Библией в Вестминстерском зале. Его сан не был объявлен наследственным, но ему было дозволено назначить преемника, и никто не мог сомневаться, что он назначит сына”.

Палата общин была необходимой частью государственного устройства. В учреждении этого собрания протектор обнаружил мудрость и политический смысл, которые не были как следует оценены его современниками. Недостатки древней представительной системы, хотя вовсе не такие важные, какими они сделались впоследствии, уже замечались людьми дальновидными. Кромвель преобразовал эту систему на следующих основаниях: маленькие города были лишены привилегий, число же членов за графства было увеличено. Очень немногие города без представительства успели до того времени приобрести важное значение. Из этих городов самыми видными

были: Манчестер, Лидс и Галифакс. Представители были даны всем трем. Прибавлено было число членов за столицу. Избирательное право было устроено так, что всякий достаточный человек, владел ли он поземельной собственностью, или нет, мог вотировать за графство, в котором жил. Несколько шотландцев и несколько колонистов-англичан, поселившихся в Ирландии, были приглашены в собрание, долженствовавшее издавать закон для всех частей Британских островов.

В реформах Кромвеля заключается, конечно, зародыш всех последующих преобразований в области избирательного права. Но действовал он более чем осмотрительно: он не только не уничтожил ценза, но даже не уменьшил его. С другой стороны, история выборов во все его парламенты часто возмущала людей, стоящих на точке зрения права. Выборы эти всегда производились под сильным административным давлением, и протектор никогда не стеснялся прибегать к самым экстраординарным мерам, чтобы обезопасить себя от короля или протеста парламента. Так, однажды, например, 102 депутата, хотя и избранные совершенно правильно, не получили доступа в зал заседаний, так как Кромвель не счел их удобными для себя. Он слишком скоро убедился, что, ненавидимый и роялистами, и пресвитерианами, он мог быть в безопасности не иначе, как обладая абсолютной властью. Первая палата общин, какую народ избрал по его приказанию, выразила сомнение в законности его авторитета и была распущена, не успев издать ни одного акта. Вторая признала его протектором и охотно сделала бы королем, но упорно отказывалась признать его новых лордов. Ему не оставалось ничего более как распустить и ее. “Бог, – воскликнул он при расставании, – да будет судьею между мной и вами!”

В тщетных попытках обезопасить свою власть от всяких поползновений, Кромвель настойчиво искал для нее таких опор, которые не исходили бы прямо из его личного величия и гения. Оттого-то так настойчиво уподоблял он себя королю, где только это было возможно; оттого-то задумал он восстановить палату лордов. Это было очень трудное дело. Кромвель застал уже существовавшее дворянство, богатое, весьма уважаемое и настолько популярное между другими классами, насколько какое-нибудь дворянство когда-либо бывало. Если бы он как король Англии повелел пэрам собраться в парламент согласно древнему обычаю государства, многие из них без сомнения повиновались бы призыву. Но этого он не мог сделать. Он только предложил главам знаменитых фамилий занять места в своем новом сенате. Те отказались. С их точки зрения согласие было бы равносильно унижению достоинства, как своего, так и родового. Они тоже

спрашивали ежеминутно: “Ваши полномочия, Ваше Высочество? Покажите нам их!” Протектор поэтому был принужден наполнить свою верхнюю палату новыми людьми, успевшими в течение последних смутных времен обратить на себя внимание. Это было наименее удачное из его предприятий, не понравившееся всем партиям. Левеллеры гневались на него за учреждение привилегированного класса. Толпа, питавшая уважение к великим историческим планам, без удержу смеялась над палатой лордов, в которой заседали счастливые башмачники и извозчики, куда были приглашены немногие дворяне и от которой все старинные пэры отворачивались с презрением.

В палате лордов Кромвель, между прочим, хотел найти противовес нижней. Та – как бы она ни избиралась, – очевидно, была непримирима. Чтобы успокоить ее, Кромвелю постоянно приходилось прибегать к самым экстраординарным мерам. Они были ему неприятны, он страдал от них. Не помогут ли лорды? Но – увы – лордов не было : были одни parvenus, возбуждавшие иронию и злобу своими громкими титулами. “Я не хочу, – сказал граф Варвик, – сидеть рядом с сапожником Гьютоном”. Ждали с любопытством, что сделает Артур Гаслерт, которого протектор назначил членом верхней палаты. Он не явился, скрывался несколько дней, а затем неожиданно пришел в палату общин и просил допустить его к присяге. Не решались принять его; сэр Артур упорно настаивал. “Я был избран народом для заседания здесь; я охотно дам присягу; я буду верен особе милорда-протектора. Я не хочу никого убивать”. Он был принят и тотчас же занял место во главе оппозиции.

Это – один из образчиков бесчисленных распрей и ссор, происходивших у протектора с парламентом. Однако энергия его администрации нимало не ослаблялась ими. Те же солдаты, которые ни за что не позволили бы ему принять королевский титул, поддерживали его, когда он отваживался на такие насильственные меры, на какие никогда не решался ни один английский король. Правление поэтому, с виду бывшее республикой, в сущности было деспотизмом, умерявшимся только мудростью, выдержанностью и великодушием деспота. Знаменитый принцип, что “Англия управляется сама собой”, был совершенно забыт. Страна была разделена на военные округа. Эти округа находились под начальством генерал-майоров. Всякое мятежное движение немедленно подавлялось и наказывалось. Страх, внушенный могуществом меча, находившегося в такой сильной, твердой и опытной руке, укротил дух и кавалеров, и левеллеров. Предлагали защищать старые вольности Англии. Но всякий понимал, что в данную минуту это было бы безумием.

Нельзя ничего было сделать даже путем заговоров: полиция протектора была хороша, бдительность его была неослабна, и когда он появлялся вне пределов своего дворца, обнаженные мечи и кирасы верных телохранителей окружали его плотно со всех сторон.

“Будь он, – говорит Маколей, – жестоким, своевольным и хищным государем, нация могла бы почерпнуть отвагу в отчаянии и сделать судорожное усилие освободиться от военного деспотизма. Но тягости, какие терпела страна, хотя и возбуждали серьезное неудовольствие, однако не были такими, которые побуждают огромные массы людей ставить на карту жизнь, имущество и семейное благосостояние против страшного неравенства сил. Налоги, правда более тяжкие, чем при Стюартах, были не тяжелые в сравнении с налогами соседних государств и ресурсами Англии. Собственность была безопасна. Даже кавалер, удерживавшийся от нарушения нового порядка, наслаждался в мире всем, что оставили ему гражданские смуты. Уничтоженные Долгим парламентом последние следы крепостничества, конечно, не возобновлялись. Отправление правосудия между частными лицами совершалось с точностью и безукоризненностью, дотоле неслыханными. Ни при одном английском правительстве со времен Реформации не было так мало религиозных преследований...”

Но это слишком важный пункт, чтобы говорить о нем мимоходом.

Всякий желал бы, конечно, чтобы этих религиозных преследований не было совершенно. К сожалению, ничто не распространяется так медленно, как веротерпимость. Если мы спросим себя, кто в описываемую нами эпоху был искренне и действительно на стороне свободы совести, то во всей Англии едва ли насчитаем десяток-другой человек. Кромвеля надо поставить во главе их. Но и ему приходилось делать уступки духу времени, и ему надо было казнить и вешать, чтобы не разойтись с теми, кто был опорой его власти, его жизни. Католиков ненавидели, и *теперь* более, чем когда-нибудь. Исторические и политические мотивы присоединились к мотивам религиозным. Даже такие люди, как Мильтон, разделяли эту ненависть: стоит лишь припомнить, с каким грозным негодованием, с какой злобой и местью говорит он о папизме. Папизм – порождение дьявола. Это один из догматов английского миросозерцания половины XVII века, быть может, самый упорный и настойчивый. После Кромвеля он продержался еще более 160 лет, и позорное пятно английской конституции – Test-Act, запрещавший католическим подданным Британского величества занимать

какие бы то ни было государственные или общественные должности, был уничтожен лишь в 1824 году!.. Полной веротерпимости *не могло* быть и при протекторе. Но в этом отношении он сделал все возможное. Основным государственным законом было провозглашено, что католики и епископы нетерпимы. Богослужение и пропаганда были, конечно, безусловно воспрещены им. Были даже преследования. В июне 1654 года, например, один бедный католический священник, тридцать семь лет назад изгнанный за свое звание, решился вернуться в Англию, но был схвачен сонный с постели и отправлен в Лондон, где его судили, приговорили и повесили. Но Кромвель делал немало усилий, чтобы избегать подобной жестокости; он желал, чтобы преследуемые давали ему возможность уклониться от нее, соблюдая наружное приличие. Но когда их горячая вера или энергический характер отвергали эти маленькие слабости, тогда он, не колеблясь, предавал их всей строгости законов. Однако и тут надо отдать справедливость Кромвелю: преследования при нем были, но не было инквизиции, не было беспутного вторжения в чужую человеческую душу, преднамеренного выискивания жертв для костров и виселицы. Стоило не быть энтузиастом, чтобы спокойно исповедовать какую угодно веру. Свобода культа, правда, была ограниченная, и в 1655 году 24 ноября епископалам было запрещено находиться при частных семействах в качестве духовников и наставников, как это часто бывало. До драгонад, к счастью, дело не доходило, хотя, кроме Кромвеля, кто же мог помешать им? Многие и многие из его партии, наверное, были бы в восторге от такого радикального искоренения папизма. Сектантов, анабаптистов, милленариев, квакеров Кромвель не преследовал совсем, разве на политической почве. Мало того, он решился привлечь к себе другой класс людей, всеми гонимый и презираемый. Это были евреи. Кромвель, не давая им публичного права гражданства, которого они домогались, позволил некоторым из них жить в Лондоне. Они выстроили там синагогу, приобрели участок земли для кладбища и втихомолку образовали род корпорации, преданной протектору, терпимость которого служила единственной гарантией их безопасности.

* * *

После роспуска последнего своего парламента (4 февраля 1652 года), сделавшего было попытку ограничить его самовластие, и после удачной войны с Испанией в Индии и

Европе, Кромвель достиг высшей степени могущества; он пользовался огромным влиянием в Европе и высшим авторитетом в Британии… Но – странная ирония судьбы – чем выше поднимался он по ступеням славы и могущества, тем все более становился одиноким. От него отворачивались его старые боевые товарищи, которые служили под его началом, когда он был еще простым капитаном: они не могли понять, в чем тут может заключаться преступление, если палату, состоящую не из лордов, не называть палатою лордов. Но Кромвель требовал безусловного повиновения. Республиканские и анабаптистские мнения затрагивали его власть в самом корне, он не хотел терпеть их по крайней мере в армии. “Я служил ему пятнадцать лет, – говорил после смерти его Паккер, суровый и честный офицер-республиканец, – с той поры, как он сам командовал еще кавалерийским эскадроном, до момента его высшей власти; я семь лет командовал полком и теперь одним дыханием его, без всякого суда, я выброшен вон. Я лишился не только места, но и старого лагерного и боевого товарища, и пять подчиненных мне капитанов, все честные люди, были исключены вместе со мной за то, что не хотели сказать, что у нас есть палата лордов”.

Недовольные офицеры задумали даже заговор и пытались собраться возле находившегося в немилости Ламберта – тоже когда-то товарища и друга Кромвеля. Полковник Гетчинсон узнал об этом. Искренний христианин и республиканец, он со времени изгнания Долгого парламента оставил армию и политику: его возмущала тирания Кромвеля, но еще больше возмущала тирания злой, безумной посредственности, которая хотела занять его место. “Кромвель, – говорит его жена, – был смел и велик, а Ламберт – только полон глупого и нестерпимого тщеславия”. Гетчинсон предупредил протектора, и заговор был потушен в самом начале.

На его месте возник немедленно другой.

Несмотря на всю классическую скупость испанского двора и собственную вялость, Карл II собрал наконец на берегах испанских Нидерландов небольшой корпус войск; нанято было несколько транспортных судов; слухи о близкой экспедиции получили некоторую основательность; английские роялисты с жаром просили о ней, обещая восстать всей массой. Роялистские движения появились сразу в нескольких местах: на севере, юге, западе, в самом Лондоне. Но – звезда и теперь не изменила Кромвелю – между заговорщиками оказался изменник. Надзор и репрессалии усилились. Никогда тюрьмы не были так переполнены: число заключенных за политические преступления простиралось до двенадцати тысяч человек! Начался суд в особой

комиссии – настоящем революционном трибунале, где чувство самосохранения заменяет все законы и диктует все меры.

Эти заговоры заставляли задумываться. Общество, все целиком, не замедлило дать почувствовать Кромвелю все свое неудовольствие его ссорами с парламентом. Протектор требовал у муниципального совета ссуды, но Сити, которая всегда доставляла деньги парламенту, нашла их для Кромвеля так же мало, как некогда для Карла I. Дело дошло даже до задержек в уплате пошлин, утвержденных в последнюю сессию. На какой же успех можно было рассчитывать при взимании податей, никем и никогда не утвержденных?

Будущее в таких обстоятельствах не предвещало ничего доброго. Большинство сторонников Кромвеля уже настойчиво задавали себе вопрос, сформулированный его же сыном Генри: “Не зависит ли все от одной только личности отца, от его искусства, от привязанности к нему армии, и не возгорится ли кровавая война, когда его не будет?”

Но и эта единственная опора была уже надломлена. Одно из близких к Кромвелю лиц старается доказать, что попытка управлять государством без парламента надорвала его жизненные силы. Несомненно, что неудача его планов вызвала в нем болезненное возбуждение. Он по целым неделям перестал показываться даже в кругу своей семьи.

А ведь он любил ее и прежде все свое время проводил с нею.

Семейство Кромвеля было центром и главным элементом его двора. Он вызвал в Лондон сына Ричарда и сделал его членом парламента, тайным советником и членом Оксфордского университета. Второй сын его, Генри, управлял Ирландией и часто навещал отца. Зять его, Джон Клейполь, человек аристократических нравов, любивший удовольствия роскошной жизни, был так же, как и сам Ричард – будущий протектор, в коротких отношениях со многими кавалерами. По выходе замуж последних двух дочерей Кромвеля за лорда Ораль конбриджа и Рича вокруг него собрались четыре юные семейства, богатые, стремившиеся наслаждаться и услаждать приближенных людей блеском своей жизни.

Сам Кромвель любил общественное движение, блестящие собрания, особенно музыку, и находил удовольствие в привлечении к себе артистов. Вокруг дочерей его образовался двор многолюдный и одушевленный. Только одна из них, леди Флитвуд, пламенная и строгая республиканка, мало принимала участия в этих пирах и скорбела о “монархическом” и светском увлечении, которое преобладало как в доме, так и в политике протектора.

Но все это было и прошло. Кромвель стал мрачен, стал избегать людей. В нем развилась мучительная подозрительность, не дававшая ему покоя ни днем, ни ночью. Он постоянно был вооружен и имел на себе латы; выезжая, брал с собою в карету несколько человек и окружал себя конвоем; ездил очень скоро, часто изменял направление и никогда не возвращался домой той же дорогой, по какой ехал из дому. В Уайтхолле у него было несколько спален и в каждой из них – потайная дверь. Он выбрал из своей кавалерии 160 человек, вполне ему известных, назначил им офицерское жалованье и образовал из них восемь взводов, которые по двое постоянно составляли вокруг него охранную стражу. Та ясность и самостоятельность ума, та страстность и смелость чувства, которые были так привлекательны в Кромвеле, по-видимому, совершенно исчезли.

Вокруг него теснились уже призраки смерти.

В 1654 году он лишился своей матери, Елизаветы Стюарт, женщины умной и доброй, к которой постоянно испытывал глубочайшее уважение. Она не доверяла положению сына и делила с ним его величие не иначе, как с чувством скромности и даже сожаления о прежней тихой деревенской жизни! Он с трудом убедил ее поселиться во дворце. Она жила там в непрерывной тревоге, каждый день ожидая какой-нибудь катастрофы и вскрикивая всякий раз, когда слышала выстрел: “убивают моего сына!”... Зимою 1658 года дочь Кромвеля Франциска в конце третьего месяца замужества лишилась мужа Роберта Рича, которому было не более 23 лет. Спустя три месяца умер граф Варвик, близкий друг Кромвеля. Едва прошло затем несколько недель, и новый, еще более жестокий удар уже готов был поразить его. Его любимая дочь леди Клейполь уже давно слабела и страдала: она поселилась в отдаленном дворце, чтобы там пользоваться воздухом и деревенским спокойствием. Замечая, что ей становится все хуже и хуже, Кромвель сам переехал туда, чтобы заботиться о ней лично и постоянно.

Часто, измученный работами и дрязгами государственной жизни, любил он отдыхать возле нее – столь чуждой той борьбы, тех насилий, которыми была уже полна его жизнь. Но это наслаждение теперь превратилось для него в горькую печаль: сложная и неопределенная болезнь леди Клейполь развивалась быстро, с ней начались нервные припадки, во время которых она перед глазами отца то обнаруживала свои жестокие страдания, то не могла сдержать детской тоски и грусти по нем. Перед смертью страшные галлюцинации тревожили ее, ей виделась окровавленная фигура короля, требующая мщения.

Сила Кромвеля была сломлена. Он перестал заниматься

государственными делами. Дела мирские, политические вопросы, даже интересы самых близких лиц пропадали из поля его зрения по мере того, как сходил он со сцены жизни. Его душа обратилась на самое себя и, приближаясь к той стране, откуда никто не возвращался, задавала себе другие вопросы, а не те, которые волновали людей у его постели. 2 сентября 1658 года после сильнейшего пароксизма, сопровождавшегося бредом, он пришел в сознание; его капелланы сидели вокруг. “Скажите, – обратился он к одному из них, – может ли человек утерять надежду на милосердие?” – “Это невозможно”. “В таком случае, я спокоен, – сказал Кромвель, – потому что раз испытал на себе милосердие”. Он отвернулся и стал молиться вслух. “Господи, я – ничтожное создание. Ты сделал из меня орудие воли Твоей; этот народ желает, чтобы я жил: они думают, что им оттого будет лучше и что это обратилось бы во славу Твою! Другие хотят, чтобы я умер. Господи! Прости им всем и, каково бы ни было Твое Соизволение обо мне, ниспошли на них свое благословение... Тебе же честь и слава во веки веков... Аминь!..”

3 сентября была годовщина его побед при Дунбаре и Ворчестре. Этот день он называл счастливым. В этот же день, в четвертом часу пополудни, он был уже мертв.

Источники и пособия

1. *Oliver Cromwell's.* Letters and speeches with elucidations by T. Carlyle.

2. *Гизо.* История английской революции, в 3-х т. – СПб., 1860.

3. *Gardinere.* The first two Stuarts and the puritan revolution.

4. *Macaulay.* History of England, v. 1.

5. *Ranke.* Englische Geschichte vornehmlich im XVII Jahrhundert.

6. *Guizot.* Collection и пр.

7. *М. Ковалевский.* Родоначальники английского радикализма. – Статья в “Русской мысли”, № 1 – 3, 1892.

notes

Примечания

1

радикальная религиозно-политическая группировка пуритан в период Английской буржуазной революции XVII века; индепенденты явились сторонниками полной автономии церковных общин, выступали против монархии

прирожденный вождь людей *(англ.)*

привязанность к здешней, земной жизни (Словарь В. Даля)

присутствующим, наличным (Словарь В. Даля)

распространенное в XVI – XVII веках в Англии название лиц, не согласных с вероучением и культом англиканской церкви

проявлял недовольство, дулся (устар.)

принятия решения путем подачи голосов

на войне как на войне *(фр.)*

ратники с копьями (Словарь В. Даля)

10

Для самого Кромвеля, хотя и члена нижней палаты, было сделано исключение. Все понимали, что без него воевать нельзя

11

Как видит читатель, левеллеров было два сорта: одни – политические радикалы, так сказать уравнители *прав,* другие – уравнители *состояний.* Последних М. Ковалевский называет просто “diggers” – копатели

К этому времени большая часть свободных общинных земель огораживалась и переходила в частную собственность. Это была своего рода узурпация общинных прав

13

Кстати, образчик официальной прессы XVII столетия. По поводу описанных событий в “Mercurius Politicus” было напечатано: “Вчера лорд-генерал представил парламенту разные причины, по которым он должен в настоящее время закрыть свои заседания, что исполнено. Председатель и члены разошлись”

во что бы то ни стало; любой ценой *(фр.)*